

**Юрий Марахтанов**



# *Твой след ещё виден...*



**Современный роман в трёх частях**

Юрий Марахтанов  
**Твой след ещё виден...**

МОФ «Родное пепелище»

2015

УДК 821.161.1  
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6

**Марахтанов Ю. Е.**

Твой след ещё виден... / Ю. Е. Марахтанов — МОФ «Родное  
пепелище», 2015

ISBN 978-5-98948-062-3

Книга повествует о событиях «лихих девяностых», когда в одно мгновение развалились такие могучие образования, как СССР и КПСС, когда жизнь россиян перевернулась с ног на голову, а группа бессовестных политиков от имени народа спровоцировала в России государственный переворот, чуть было не погубивший страну. Все эти события поданы через судьбы того поколения, по которому прошёл бесчеловечный каток, так называемой, «перестройки».

УДК 821.161.1  
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6

ISBN 978-5-98948-062-3

© Марахтанов Ю. Е., 2015  
© МОФ «Родное пепелище», 2015

# Содержание

Часть первая	6
1	6
2	12
3	18
4	26
5	35
6	43
7	52
8	61
9	67
10	72
Конец ознакомительного фрагмента.	79

# Юрий Марахтанов

## Твой след ещё виден

© Марахтанов Ю. Е. – текст

© МОФ «Родное пепелище» – дизайн, вёрстка

\* \* \*

*«А тот, хотя бы прожил две тысячи лет и не наслаждался  
добром, не всё ли пойдёт в одно место?»  
книга Екклесиаста 6.6.*

## Часть первая

*Paulo supra hanc memoriam*  
(лат. – незадолго до нашего времени)

### 1

«Наше поколение будет жить при коммунизме!» – этот плакат на фасаде школы-восемилетки, где когда-то учился Кирилл, помнился ему до сих пор. Школа располагалась на площади, которая во времена детства и молодости Кирилла называлось «пятак». Пятаком она и осталась, хотя и была переименована в «девяносто третьем» году в площадь Свободы. Только скукожилась и застроилась по кругу киосками да мини-маркетами. Теперь здесь, с видом победившего, круглосуточно восседал «торгаш отважный», пренебрежительно предлагающий всё: от хитрых презервативов и голых глянцевого баб, до лотерейного мифического выигрыша в миллион «деревянных».

И если бы могло такое случиться, что Кирилла десантировали на площадь впервые, предложив самому на месте разобраться, где он находится, он без труда бы понял – в России. Хотя при спуске взгляд цеплялся за неоновое «Happy holiday!», а на земле сбивали с толку «Parking» и даже «Restrooms» – вместо просто русского «ТУАЛЕТ».

– Мужик, пять рублей не найдётся? – перед Кириллом стоял почти его ровесник; глядел тускло и мимо. – Я, бля... вчера в хлам, бля...

Ну, точно – Россия!

Отовсюду сквозило. Через арочный проход большого углового дома, с примыкающей серой улицы, между киосками. Может быть, и в самом Кирилле что-то уже давно выдувало и холодило душу, но – с надеждой – ожидалась весна, значит, внутреннее потепление. В предвкушении его Кирилл и постарался стать добрым.

– Вот, возьми, – он протянул червонец.

– Сдачи нет, – напрягся тот, не желая взять больше, чем требовалось. – Не составишь компанию?

Кирилл представил, даже физически ощутил, как неуютно, холодно сейчас у него на производственном участке, где он директор, литейщик пластмасс, грузчик (все прелести малого предпринимательства)... представил и согласился.

– Пиво, оно разговор любит, – произнёс неожиданный проситель, отпив несколько глотков.

Кирилл не возражал. Как каждый русский, при первой же возможности общения мимо-лётного, ни к чему не обязывающего, а потому искреннего, уже готов если не рассказать что-то сам, то выслушать и посочувствовать. Неважно где. В купе рассекающего ночь поезда или на лежаке в бархатном Гантиади, или за стойкой мини-маркета стылым февральским утром.

– Сейчас на пенсии, – продолжил мужик. – Сил ещё – море, а никому не нужен, разве только в охранники.

– Жена, дети?

– Жена... – глаза собеседника потеплели, но и увлажнились одновременно. – В аварию попали в прошлом году. Я вот-жив, как видишь, а она... Дети? С ними ведь, как с ней каждый день не поговоришь, да и живёт дочь далеко, – он назвал район, куда было минут тридцать езды на «маршрутке». – Один теперь.

– А мы в одной квартире и как на разных планетах, – вспомнил Кирилл их отношения с дочерью, и захотелось самому себе не поверить. – Наверное, за собственную молодость рас-плачиваемся.

Пиво кончилось. Продолжать не имело смысла: не в бане же. Да и самое главное уже произнесено. Дальше – риск скатиться на политику. С тем и расстались, вяло пожав руки, зная, что наверняка не встретятся, хотя что-то и всколыхнули друг у друга.

Одиноким человек на площади, да ещё в эпицентре февральского ветра, стоящий долго и в нерешительности-вызывает подозрение или сочувствие. А если этому человеку за пятьдесят, то, может, у него что не сложилось? С сиюминутным местом пребывания, или – не тому городу он отдал пятьдесят с небольшим лет; но, вдруг – не в той вовсе стране и родился?

Кирилл стоял посреди площади, курил, никуда не торопился.

Станки, которые его ждали, можно было включить в восемь утра или девять, но осиливать монотонную, тупую работу больше полусуток – не удавалось. И пока, планируемая им, продолжительность смены укладывалась в доночное время, он не торопился.

Кирилл понял вдруг, что слишком долго стоит на площади. Утренняя суeta спадала, совсем стих ветер, и уже неохотно падал снег робкими, значительными хлопьями. И он сел в автобус.

На ста квадратных метрах арендуемых им площадей, Кирилл и печатал теперь деньги.

В толпе людей, оживших в последние годы вместе с «оборонкой» и принадлежащих машиностроительному НИИ: производственников, разработчиков, снабженцев, сварганивших нечто очень скорострельное и необходимое в чеченской войне, – Кирилл, мысля автономно от них, каждый день проходил турникеты проходной. Он расписывался в журнале за ключи и, наконец, нырял в «собственное», принадлежащее только ему производство. Обшарпанная убо-гость помещения, только с виду предполагала амёбную простоту процесса. Часть его Кирилл, действительно, делал машинально. Отпирал двери, включал пакетник, обозначив неяркий, под высоким потолком, свет; затем врубал искрящий клеммами рубильник, запитывая оборудова-ние; нажимал кнопки и тумблеры, тем самым, ставя термопластавтомат на обогрев и вдыхая в него жизнь. Её было видно по красным, мигающим цифрам термозадатчиков температур на четырёх зонах нагрева. По зелёному ровному свету лампочек на панели скоростей впрыска и давления. Ещё по десяткам других признаков, уловимых лишь теперь, после полутора лет, когда, оставшись один, Кирилл вынужден был перейти от общего руководства производством крупного завода, к непосредственному контакту со станком.

В этот час Кириллу ничего не оставалось делать, как вспоминать, удивляясь метаморфо-зам, произошедшим с ним так неожиданно скоропостижно и просто.

Тогда, в декабре девяносто второго года, Кирилл столкнулся с будущими друзьями нос к носу около нотариальной конторы на площади, которая пока не имела официального названия.

– Какие люди! Вы ещё на свободе? – Кирилл и вправду удивился встрече со своими знакомыми по сомнительному бизнесу.

Гриша Левин, Юлек Кульман и Лёша Прокопович поставляли цветной металл за бугор. А такого металла – меди, титана – у Кирилла на его предприятии имелось достаточно. Два еврея и хохол – это была гремучая смесь для перерождавшейся российской промышленности. Заку-пали дешевле «цветнину», а продавали дороже в ближнее теперь зарубежье. Отдавал и Кирилл, так как отходы официально числились, конечно, и кондиция иногда перепадала ГЮЛям (так он сокращённо называл троицу по первым буквам имён). Как они её вывозили – чёрт их раз-берёт! Казалось, что порознь они не ходят никогда.

Гриша – в свои сорок уже лысый, вечно загадочный, как содержимое старинного комода; с лицом-маслиной – Юлек; похожий на пельмень Лёша, – это они стояли сейчас перед Кирил-лом.

То, что имелось общего между Кириллом и ГЮЛями уже рушилось. Страна вот-вот, и производство чуть-чуть. У Кирилла – малое предприятие по производству комплектующих для уникальной установки по регенерации цветных металлов из травильных растворов. Идея и конструкция установки принадлежала небольшому НИИ, они забирали у Кирилла комплектующие, начинали электроникой, собирали, отлаживали, продавали. Потом продажей заниматься стало лень. Отдали сбыт Кириллу. НИИ принадлежал одному из образовательных ВУЗов города, его сотрудники во главе с директором-профессором, все поголовно работали на кафедрах, а потому от производственных и снабженческо-сбытовых дел были далеки, как декабристы от народа. Сюда ГЮЛи и вклинились, сбежав с крупного машиностроительного завода, куда их распределили после института.

Портрет далёкого от практической жизни директора НИИ, был прост и незамысловат – это лысина, борода, усы. Всё апробировано за годы советской власти, тиражировано и монументально увековечено; а уж если и галстук в горошек! – его ГЮЛи приворожили сразу.

Юлек – забалтывал, Лёха – шнырял по помещениям и производственным участкам НИИ, Гриша – теоретически всё обосновывал, обсчитывал, калькулировал, ссылаясь на законы. Короче, без ГЮЛей – просто хана!

Они стали пятой спицей в колесе, которое и без них катилось по заводам страны довольно споро. Тут Кирилл впервые с ними и столкнулся. Отлаженные схемы производства и сбыта стали давать сбои. Кирилл сразу догадался – чего хотят ГЮЛи, но не понимал по какому праву. Сошлись на том, что он будет сдавать им отходы цветного проката, которое Кирилл использовал в производстве.

Но неожиданно всё так стремительно стало рушиться, в первую очередь система платежей, когда деньги оседали в Москве в таких количествах, на такие сроки, что некоторые клиенты банков, там, в Москве и стрелялись. Гиганты электронной промышленности гасли на глазах. Установки, которые поставлял Кирилл, готовы были брать, но на таких условиях, что выгоднее закрыться. Существовавшие, наверное, везде, свои ГЮЛи только усугубляли процесс.

В пик этого развала Кирилл и встретился на площади Свободы с троицей.

Юлек отвёл Кирилла в сторону, приобнял за локоть:

– Ты нам скоро понадобишься.

– С установками завязали уже? – спросил Кирилл, понимая, что завязали и совсем.

– Приватизация грядёт, пора предприятия окучивать. Надо поучаствовать в процессе. Создаём новое акционерное общество. Детали объяснять не буду. У тебя по старой работе в районах связи есть. Там тоже предприятия приватизировать будут. Директором по развитию к нам пойдёшь?

– Надо подумать, – Кирилл, понимал, что своё МП дало течь, и дёргания с выпуском кустарных деревообрабатывающих станков, другой, наспех придумываемой продукции – не спасут. В конце концов, никто же своё предприятие закрывать не заставляет.

– Чего думать-то? Видишь, что творится.

– Вижу, не маленький.

– Короче, как оформимся, позвоню.

– А учредители нового акционерного общества кто? – как бы, между прочим поинтересовался Кирилл.

– Хороший вопрос. Фамилий называть не буду, но из окружения губернатора тоже есть. «Всё не так», – подумал тогда Кирилл.

С новым губернатором у него взгляды не стыковались. Впервые лицом к лицу он встретился с младореформатором на центральной площади в верхней части города, не только географически разделённого на верхнюю и заречную части, но идеологически тоже. Рабочий класс был весь сосредоточен в нижней, заречной части города. Интеллигенция – в верхней. Эти два



слоя бурлящего общества и пытались хотя бы формально объединить веткой проектируемого метро. Верхняя часть во главе с младореформатором ежедневно пикетировала и была «против».

Кирилл приехал как-то в разгар пикетов и обморочных по содержанию плакатов, где чуть ли не «Руки прочь от интеллигентной части города!»

- Чем вам метро-то мешает? – спросил он брызжущих слюной пикетчиков.
- А вы сами с нижней части?
- С нижней.
- Откуда?
- Соромовичи мы.
- Небось, газету «Красный судостроитель» читаете? – то есть издевались уже.
- Читаю, с детства.
- Тогда о чём нам с вами разговаривать.

Конечно, сейчас всё перевернулось. Старую власть выкинули, сами уселись, кудри взъерошили, консультантов с Америки приглашали. В каждом кабинете обязательно теннисная ракетка присутствует – мода такая.

Кирилл вдаваться в подробности теперь не стал. Сказал только на прощание:

- Звоните, – жить-то надо было как-то, не с голоду же подыхать.

Новых дел он не боялся. Не понимал, правда, уготованной ему роли. Но догадывался, что после окучивания прежний директор на заводе не жилец: влезут в акционеры, потребуется новый. Никто из ГЮЛей в глухомань кататься не будет, хоть и сорок минут езды до завода. Значит, могут предложить ему. Вопрос – на каких условиях. Стелиться под кого-то Кириллу было не с руки. Характер не тот. Наверное, по наследству достался.

В 1905 году его прадед одним из первых в революцию полез: «Ура! Свобода! Долой экспроприаторов!», – управляющего завода на тачку с углём, и за проходную. Подавили восстание, прадеда первым же с завода и выгнали. Пять человек детей и волчий билет. Так остатки жизни просапожничал. По нынешним временам – предприниматель... хренов.

Станок разогрелся. Пора было начинать работу. Правда, руки всё не доходили, чтобы заменить термопару в зоне сопла. Приходилось доводить температуру до ума факелом. Отсюда сажа на станине, где впрыск, грязные по локоть руки, текущее с факела масло, короче – дурдом! В который раз обещание самому себе: «Выполню заказ, поставлю термопару и задатчик температуры». В шнеке станка потрескивало, зелёный цвет лампочек на приборах сменился на красный, – обозначив нужную температуру. Можно было начинать очередной нудный, тяготящийся, принудительно-автоматический процесс литья. «С рабочего начал, рабочим и закончишь, – в очередной раз зафиксировал для себя Кирилл простую мысль. – Всё возвращается на круги своя».

Четыре года назад он, вынужденный уйти с периферийного, но довольно крупного завода, выпускавшего уникальную для региона продукцию, – проснулся однажды и с удивлением обнаружил себя свободным. Пришлось начинать с «нуля». Теперь уже не мыслить глобально: сотнями тонн полиэтилена; миллионами рублей; десятками судеб людей, работавших с ним и под его руководством; хитроумными системами оплат, придуманными им для людей же, чтобы интересно и выгодно работать. А ежедневно, ежеминутно окунаться в конкретный процесс, вникать во все хитрости его, стать наладчиком, оператором, директором, и ещё Бог знает кем. Людей не набирал, потому что даже на день не был уверен, что организованное им предприятие будет существовать в новом государстве долго и стабильно. Замкнулся в себе как писатель в идее ненаписанного рассказа и никого больше не подпускал. Разве что делился наболевшим с женой Натальей на обязательных – в шесть утра – кухонных оперативках. Но и здесь фильтровал информацию, оберегая близкого человека от лишних переживаний.

Глухим стуком падающего с пресс-формы в лоток изделия, обозначается каждый законченный цикл. Кирилл берёт тёплую ещё, как яйцо из-под курицы, деталь. Она для заказчика пока полуфабрикат, а для него уже товар с обозначенной (надо бы подороже!) ценой. В цене – налоги, аренда, электроэнергия и, самое главное, его, Кирилла доходы, на которые он должен теперь жить.

Станок, как опытный стайер, сейчас вышел на саморазогрев, он знает дистанцию, его шланги уже не напряжены так, как во время старта – несколько расслаблены, но ровно настолько, чтобы разогревающееся с каждым новым шагом-циклом масло, вдоволь запитывало десятки клапанов, каждый из которых – автономное сердце машины.

Кирилл берёт острый сапожный нож, мягко и чутко, чтобы не повредить поверхность вещи, срезает податливый пока излишний материал, прикидывает тут же, что «облой» можно использовать повторно, перемешав с основным сырьём. Эта невесомая с виду (грамм!) полоска пластика в виде неиспользованного повторно сырья, стоит три с половиной копейки. Но Кирилл теперь не в славном бесшабашными масштабами затрат социализме, а в рыночной экономике. Теперь он – Плюшкин. И лозунг: «Копейка рубль бережёт!» – для него понятен и конкретен. Если с десяти тысяч циклов, по грамму с каждого – выбрасывать: три с половиной сотни профукаешь. Поэтому он бережно срезает в мешок «облой» с каждого цикла, с удовлетворением замечая, что за неделю работы отходов накопилось прилично. Можно попробовать от этого греха избавиться, но тонкость границы перехода от «облоя» к «недоливу» так эфемерна (тоньше клочка папиросной бумаги), что лучше не рисковать. Чуть ошибись, тогда уже сто грамм сырья безнадежно отлетит в брак, и уже другие проблемы. Это профуканный цикл, впитавший в себя электроэнергию, арендную плату и, главное, время.

Хотя у Кирилла его теперь достаточно. Он, любивший всегда расчёты, таблицы, графики, анализ – может заниматься этим, сколько душе угодно. Сиди, смотри на счётчик, удивляйся магии цифр, образующих числа. Через них уже станок будто разговаривает с ним, уважая в Кирилле рачительного и заботливого хозяина. «Щёлк! Рубль двадцать. Щёлк... уже червонец!»

– А меня Наталья всегда ругает, когда начинаю доходы считать, которых ещё нет. Вот тебе и «щёлк!»

Станок скрипит кулисами, отводит пресс-форму, сбрасывает изделие. Который год уже вместе, многое Кирилл раскусил в станке, только электроники побаивался Сидел сейчас рядом с отлаженным процессом, с циклом в шестьдесят секунд, и думал.

Кирилла всегда, а особенно в последние годы, удивляла и ужасала одновременно судьба дяди Толи (мужа тёти Кирилла). Крестьянин по натуре своей, и сейчас в свои «восемьдесят» без рыбалки да собирания грибов себя не мыслящий, он всю свою жизнь до пенсии, проработал на одном заводе, в одном цеху, на одном станке. Сорок лет. Сколько же он передумал за это время?!

Кирилл берёт калькулятор – опыт экономиста позволяет считать быстро, точно, решительно.

«176 часов в месяц, умножаем на 11 месяцев – отпуска надо учесть, хотя какие в войну отпуска, да и смена не по восемь часов; ну да ладно! Умножаем на 40 лет. Итого: 77440 часов. А в секундах?! С ума сойти! Двести семьдесят семь миллионов двести тысяч секунд! Куда можно улететь в мыслях за это время?! Скорость космического корабля -14 км/сек. Умножим. Получается: три миллиарда восемьсот восемьдесят миллионов восемьсот тысяч километров!!!»

– Кирилл смотрит на зашкаленный калькулятор, ещё раз проверяя «нули». Всё сходится.

Улетел дядя Толя? Нет. Так и остался на грешной Земле. Даже в мыслях, напуганный в юности раскулаченным отцом: «Ежжайте, ребята, в город. Здесь с голоду подохните, а там – заводы крупные. Не выпячивайтесь только». Дядя Толя и не выпячивался. Ни орденов, ни медалей. И на пенсию ушёл тихо, как вода в песок. Тем более в перестройку попал, не до него было.

«Теперь это ждёт меня!» – ужаснулся Кирилл простой, но правильной мысли.

– Тебе факс опять пришёл, – на пороге встретила Кирилла Наталья. – Ты тут поужинай сам. Я к внучке сбегая, ладно?

– Ладно, – Кирилл уже привык, что метущуюся на два дома жену он видел только по утрам. – Ты надолго?

– Заночую, наверное. Опять температурит.

– Родители у неё есть? – в который раз спросил Кирилл, имея в виду не столько старшую дочь, сколько загадочного своей тундряцкой молчаливостью зятя.

Жена только отмахнулась.

– Младшая придёт поздно, – добавила неприятности Наталья. – Отдохни, заработался что-то.

С тех пор, как родилась внучка, которую, молчаливо упорствуя, назвали Машей, как и младшую дочь, в их семье дочь стали называть «младшей», а внучку – «маленькой» Особенно была недовольна ненужным совпадением имён мама Наталья. Она по-деревенски высказалась просто и основательно:

– Теперь, как в стаде: одни Машки кругом, – подумав, добавила. – Теперь вот Маша Кириллу насолит, а он придёт к ним, и на внучке зло срывать будет. Все «пинки» ей достанутся, – тогда ещё посмеялись.

А факс из Италии, красивый, как гравюры Фаворского, лежал на столе и приглашал к дальнейшему сотрудничеству. Оборудование и оснастка на заводе, который когда-то возглавлял Кирилл, были сплошь оттуда. Связь на заводе Кирилла, находящемся на периферии, в одном из районов области, была никудышной. Поэтому и аппарат Кирилл установил у себя дома, в областном центре. До сих пор ему эти факсы и шли: как напоминание о другой жизни, другом времени, других возможностях...

Сегодня бумага пришла от Александра.

## 2

Саша до сих пор удивляется, как просто он попал в Италию. Уезжал на практику после университета, получилось, кажется, навсегда. Теперь, когда остались позади общежитие и скомканная от неустроенности жизнь, он, закрепившись на фирме и, обзаведясь съёмной квартирой, часто вспоминает свои первые шаги по чужой земле.

Тогда хотелось прилететь в Рим. Но компания «ALITALIA», на самолёт которой были заказаны билеты, осуществляла рейсы только в Милан.

После прилёта нужно было ехать дальше, но день-два Саша решил для себя оставить. В Рим хотелось так, как когда-то в детстве в родную деревню матери. Он столько наслушался и начитался, что хотелось увидеть всё самому. Это теперь, после пяти лет, он приезжает в Рим по-деловому, а тогда всё казалось иначе.

А Милан его сильно удивил. Саша совершал движения в разных направлениях по вечерним улочкам, ища символы, и ощущал впечатление странного, непонятного, – обнаруживая их. Ходил, искал: здесь должен быть театр «Ла Скала». «Где „Ла Скала“?» Полицейский:

– Вот это здание, сеньор.

Думаешь, что здание по авторитету должно быть огромно, с колоннами, фигурами... Звёзды оперы выстаивают по десять лет в очереди, чтобы спеть здесь. Смотришь на мэрию – громадное здание...

– Это мэрия, сеньор.

А театр, оказывается, сдержанное в обнаружении своих достоинств и заслуг, можно сказать невзыскательное, второстепенное помещение. И всё просто, как и в гостинице, в которую на ночь поселился Саша.

Как должно быть в Италии (к этому он привык позднее), обдурили с порога.

– Номер с душем? – спросил он, и постеснялся некорректного вопроса.

– Чертаменте! – убедили его. Но из душа вода лилась, как из бутылки, с бульканьем, с неохотой и нежеланием работать.

Наутро, с шикарного миланского железнодорожного вокзала, наследства Дуче, где просторные мраморные, прохладные полы, на которых восседали из-за неимения лавочек, пассажиры, Саша отбывал в Рим. Он взял из камеры хранения огромный чемодан, уселся в электричку и стал ждать отхода, предвкушая Колизей, холмы, фонтаны, белые – апаш-рубашки на загорелых итальянцах... Пусть ненадолго, пусть на день, но – Рим!

Через пять, и через двадцать минут электричка не трогалась. Рядом, мумиями тихо восковели японцы. Во всём вагоне «генерировали» только американцы и Саша. Он негодовал:

– У нас в Киселихе, на узкоколейке, паровоз и то по расписанию отправляется! – неожиданно, через полчаса после срока, дверь без объявлений захлопнулась, и поехали.

Опять вокзал. Газоны, деревья, лотки с арбузами, которые и на траве тоже. Молодёжь лежит на траве. Прекрасно! Пожалел, что он из России и не может сделать того же запросто. Фонтан Треви, прямо из стены, площадь, лестницы, студенты. Идёшь по какому-то переулку, опять – фонтан! И студенты весело купаются в фонтане, оштрафованные полицией. Но уже нужно ехать дальше. Позади, обеганный за день Рим, оставивший впечатление коренастого мужика, раздатого вширь.

Уже вечер. Скоро уезжать. Термы Каракаллы, скверик, картонные коробки рядом с арбузами на траве, то ли бомжи, то ли студенты находятся в непринуждённом горизонтальном положении повсюду. Не выдержал, пристроился рядом, час лежал. Две симпатичные девчонки улыбнулись над головой:

– Вы не одолжите нам несколько сот лир, сэр?

Саша встал перед дамами, улыбнулся:

– Нет.

– Грацие.

И никто тебя не напрягает.

Только на вокзале обнаружил, что ни бумажника, ни документов в карманах нет.

Никогда не писал стихов, а тут прорвало:

*«Я ушами хлопал, как крыльями,  
Наблюдал итальяйские дали,  
А паршивые, гордые римляне  
Так конкретно меня обокрали».*

Сейчас Александр заматерел. Он уже свободно изъяснялся по-итальянски, по необходимости учил ещё «немецкий». На фирме он отвечал за компьютерные программы к термопластавтоматам, занимался и усовершенствованием программ по конструированию пресс-форм. Хотелось внедрять всё это в России, но на его родине нуждались в оборудовании всё меньше и меньше.

– О, мама миа! – удивлялся шеф фирмы, господин Марчелло, шлёпая себя по лысине и сравнивая графики поставок оборудования в советские времена и нынешние – в Россию. – Они собираются обновлять парк наших станков или так и будут работать на металлоломе!? Что они там приватизируют? Описанные основные средства?!

– Списанные, – поправил Саша своего шефа, который вполне сносно изъяснялся по-русски.

– Вы послали факс с нашими предложениями господину Кириллу? – шеф не мог запомнить сложной фамилии Кирилла Николаевича, а потому редко употреблял её в разговоре.

– Даже с Новым годом поздравил.

– Европа давно перешла на пластиковые трубы, линии по производству таких труб у Кирилла есть, их надо только, – шеф пощёлкал пальцами, – как это выразиться по-русски?

– Модернизировать, – подсказал Саша.

– Вот-вот. И поставить им пресс-формы для выпуска... – опять защёлкал пальцами.

– Соединительной арматуры, фитингов...

– Они этого не понимают?

Саша пожал плечами. Сам не мог понять, почему Кирилл не отвечал на предложения фирмы. А если бы ещё и пару станочков прикупил российский партнёр, тогда можно было бы развернуть новое производство! Точно бы всех турок с российского рынка вытеснили.

С каждым годом итальянской жизни в Саше уже глуше проявлялось ощущение физического и нравственного страдания за Россию. Как-то всё пассивнее он осознавал себя субъектом оставленной им страны, хотя некоторая смута возникала иногда в его сознании.

И сейчас, совершенно пропитавшееся влагой итальянское февральское утро, с зависшими в непрозрачном воздухе кипарисами, дальним молом и прибрежными постройками, располагало более к неспешному поливанию кофе, но никак не к рьяному переживанию за российский рынок. Хотя турки в России делали то, что безо всякого труда Сашины сограждане могли бы совершать сами.

Саша не жуировал здесь, в Италии. Он работал. Его математическая мысль чрезвычайно тщательным образом превращённая в компьютерные программы, заполняла не только сознание, но являлась убеждением, взглядом на жизнь, где уже переставали существовать не только «башни из слоновой кости», но и государства с их границами и экономическими свободами. Толерантность программ, международная востребованность, превращала их в своеобразный тотем, то есть в предмет некоего культа, родоначальником которого Саша и являлся, испытывая

при этом не только сознание ценности своих овеществлённых в продукт флюидов, но и уважение к себе нынешнему, впрочем – без излишней заносчивости и чрезмерной гордыни.

Даже внешне Саша изменился за последние годы. Из лопухого, нескладного парнишки, приехавшего в чужую страну и скучавшего по деревенским родным озёрам, где он проводил лето, он превратился в юношу, лишённого ленивых жировых накоплений, все части тела которого, имели между собой правильное соотношение и даже логичность. Он любил фразу, но не фразёрствовал; мог рассмеяться, но не хохотал; мог взгрустнуть, но скрывал это. Несколько не вписывались в аскетичный портрет глаза, до сих пор удивлённо вззирающие на мир, но, скрытые холодными стёклами очков, добавляли общей гармонии. Рассуждая абстрактно, его портрет вполне был теперь схож с хорошей цифровой видеокамерой: в меру строгой, оригинально несуразной, достаточно напичканной дорогой, воплощённой в математику, мыслью. Умные глаза-объективы фиксировали, впитывали, записывали в память. И в этом современном мире он не был одинок, а даже типичен.

– Что у нас по Египту? – голос господина Марчелло вернул Сашу от созерцания итальянского пейзажа за окном, в действительность.

Тема была сложной по воплощению, и в её орбиту включили почти всех ведущих менеджеров фирмы. Сейчас, на стадии завершения проекта, от Саши требовалось немногое. Но Каир – это «пунктик», который каждый раз заставлял Сашу вздрагивать, в раздумье поправлять очки, до боли вдавливая их в переносицу, и с грустью вспоминать. Уже несколько лет поездка в Египет не давала ему покоя, нарушая привычное комфортное существование.

\* \* \*

Господин Марчелло взял с собой Сашу в командировку, в Египет, буквально через год его пребывания в Италии. Мог бы и не брать, но относился он к Саше по-отечески, смотрел иногда на него усталым, взглядом и произносил по-итальянски фразу: «Вы совсем другие...»

Шеф был много старше отца Саши, но его проблемы, конечно, ни в какое сравнение не шли с российскими заботами отца. Шеф капитализировал такие средства в свою фирму, что Сашиним родителям не снилось. Там, в России, за отца думало государство, предоставив работу преподавателя в ВУЗе, здесь – господин Марчелло решал для себя все вопросы существования сам.

«И зачем это ему? – удивлялся Саша планам шефа: открыть на африканском континенте филиал фирмы. – Кому всё оставит? Детей-то нет». Но постепенно и его захватывал азарт нового увлекательного сафари, где, скорее всего, он будет в числе обслуживающего персонала, но их «конюшня» должна быть в числе лидеров. Как стригунок перед первым стартом, Саша уже подрагивал телом и ерошил короткие, стриженные под бобрик волосы.

Кроме Италии, где он теперь жил, больше Саше за границей бывать не приходилось. Хотя теперь, когда совсем недавно развалили Союз – даже Украина с Абхазией стали «заграницей». Раза по два он побывал в обеих республиках. В основном же, на лето уезжали в деревню: где река и озёра; где куча-мала сверстников, которые все поголовно близкие и дальние родственники; где волюшка вольная; где рыбалка ранним, тихим до шёпота утром и рассказы деда у костра о прошлом житье-бытье. Туманы, – которые дед называл странным неправильным словом «заволочь», – есть и в Италии, но «ёжик в тумане» – всё же российский продукт, как гриб груздь или брусника в припорошенном первым снегом лесу, но никак не итальянские.

А Каир огорошил.

– Туман, – сказал Саша, глядя в иллюминатор самолёта на рдеющее к закату солнце и широко растворившийся в тумане город.

– Смог, – уточнил господин Марчелло.

Самолёт лёг на крыло, опрокинув панораму города и дав возможность видеть её, как бы выведенную на экран компьютера. Сразу, в небогатом различии цветов, спектре, обнаружилась иррациональная белым цветом поверхность, – проплешина в сером «лR-квадрате» иллюминатора, – внутри которой, математически строгим сторожевым отрядом наблюдались пирамиды. Саша, забыв снять очки, прильнул к иллюминатору, но самолёт уже выровнял курс, и всё исчезло.

Потом была гостиница, по-восточному излишне-любезный, слащаво-сентиментальный сервис, и спокойный сон за закупоренными наглухо окнами.

В Италии его каждое утро будили возгласы продавца зелени и фруктов. Здесь Сашу разбудили гортанные формулические призывы, извещаемые по несколько раз муэдзином. Саша поднялся, подошёл к окну, оглядел небольшую площадь, на другом конце диаметра которой располагалась мечеть. Оттуда, с одного из двух минаретов зывали к молитве. Усиленный динамиками голос метался между зданиями и, кажется, не мог оставить в лености любого, проповедующего чужую для Саши религию.

«Но этот же азан шепчут на ухо новорождённому, – вспомнил Саша вычитанные справочные сведения. – Почему же так громко они возвещают его по пять раз в день?»

С шефом встретились на утреннем завтраке, где он рассказал о планах на день. Посещение консульства, может быть, небольшой раут, главной же была поездка под Каир, в промышленную зону, где господин Марчелло имел намерение открыть завод по производству пластиковой продукции, оснастить который планировалось своими станками.

Сейчас, вспоминая свою первую поездку, Саша автоматически исключил производственные детали. Это потом ему станет интересной идея шефа, тогда же главным оказалось другое, чего он не ждал, а теперь вспоминает и живёт этим.

Только к вечеру господин Марчелло отпустил Сашу в город одного. Как смог объяснил меры предосторожности от всяких там соблазнов и просил не потеряться в огромном Каире.

– Никаких автобусов, – предостерёг он Сашу, – только такси. На автобусах приличные люди здесь не ездят. За три-пять долларов, тебя привезут куда угодно. Название гостиницы помнишь. А завтра уезжаем в Хургаду на заслуженные пять дней отдыха.

Изнутри Каир совсем не увиделся Саше выхоленным городом. Хотя в некоторых кварталах это могло показаться. Тем более, здесь попадались арабы, в которых без труда угадывалась склонность к чувственным удовольствиям и изнеженной жизни. Они не шли, а шествовали навстречу в длинных распашных хламидах-накидках или цивильных европейских костюмах. Иногда мужчины, идущие вместе, держались за руки, но – как объяснил шеф – у них так принято.

Тут же, за углом, вдруг обнаруживался другой город, где труженическая жизнь чувствовалась на каждом шагу. И струпья штукатурки полуразрушенных зданий здесь, в шелудивом Каире, быстро вытесняли праздные арабески, только что виденные минуты назад.

Тут, и там: рядом с многочисленными лавочками, магазинчиками, в которых сидельцами присутствовали хозяева, – витали в кальянных эмпиреях арабы, выглядевшие прилично и не очень.

Но целью прогулки Саши была Гиза и, конечно, пирамиды.

Среди транспортного хаоса таксисты вылавливали потенциальных пассажиров безошибочно. Не успел Саша подумать, а такси уже стояло перед ним с распахнутой дверцей. Рывок был непонятной марки, но, видимо, ездил. Сторговались быстро, потому что сзади уже кучковались другие желающие заработать. За два доллара Сашу мчали в другой мир, если понятие «мчали» было применимо к дороге, на которой не существовало каких-либо правил передвижения – как для пешеходов, так и для водителей. Уже расплачиваясь, Саша с удивлением обнаружил, что таксист босой. Он, в такт музыке, шевелил грязными голыми пальцами и улыбался.

Даже вереницы туристов, – совершавших подобно тараканам свои механичные действия около и по самим пирамидам, – не умаляли одинокого величия пирамид. Менее всего Сашу интересовал анемичный пейзаж вокруг. Да его и не было. Лишь белая плоскость пустыни растворялась на горизонте в бледно-голубой поверхности безоблачного неба. И там, где они якобы сливались, дрожал жаркий воздух, предлагая лёгкие призрачные видения. Саша щёлкал фотоаппаратом, меняя ракурсы, но пирамиды не открывали никаких изъёнов в своей безупречной геометрии. Женский возглас заставил его вздрогнуть и обернуться.

– Ой!

Молодой араб, настойчиво предлагал «круиз» на плешивом корабле пустыни какой-то девушке. Обнаглевший, как и хозяин, верблюд, уже бесцеремонно тыкался мордой в её лицо. И это её «ой!» было таким неподдельно-родным, что Саша сразу догадался – русская.

Девушка глядела васильковыми глазами, отороченными густой чёрной каймой ресниц, и растерянно молчала. Этот цвет в ослепительно-белом мареве на фоне бесконечной пустыни, да ещё сами глаза: распахнутые в нечаянном испуге, объёмные и словно подсвеченные изнутри, – так поразили Сашу, что он растерялся.

– Вы, русская? – всё-таки решил он удостовериться.

– Заметно?

– По глазам.

А араб всё наседал.

– Рашен, Наташка-перестройка, кэмел, садись, садись!

– Вас Наташей зовут? – удивился Саша осведомлённости араба.

– Для них все русские – наташки. А меня зовут Таис.

– Тая?

– Нет. С детства родители звали Таис. Отец так назвал, он у меня фантазёр, – она рассмеялась. – Хотя теперь объясняет всё гораздо проще. Тогда на талоны за сданную макулатуру продавали книгу «Таис Афинская» – ему очень понравилась.

– Александр, – представился Саша.

Отошли в сторону от такси-верблюда, разговорились и как-то сразу перешли на «ты».

Тогда, из необязательного разговора, Саша понял одно: она окончила художественное училище; её наградили путёвкой как победительницу какого-то конкурса; и – главное – они могут ещё увидеться в Хургаде, куда Таис приедет дня через два всё по той же путёвке. Обменялись названиями отелей и расстались, потому что группа, с которой приехала Таис, уже собиралась у своего туристического автобуса. Но в Хургаде, разбросанной по побережью в виде кемпингов и отелей, – встретились дня через три, случайно.

В один из дней они с шефом выехали на снятом катере к коралловым рифам, далеко в море. Там господин Марчелло наслаждался плаванием с аквалангом, а Саша нырял с маской и удивлялся подводному миру, который открылся вдруг: неожиданный и великолепный своей разноцветностью. Радужные, полосатые, в крапинку, – плавали вокруг Саши рыбы, и было их так неестественно много, что казалось: попал в гигантский аквариум.

Потом Саша отдыхал на ослепительно-белом песке, спустив ноги в изумрудную воду, потягивал прохладное пиво, удивляясь тому, что уже декабрь. И это его удивление существовало ещё на генном уровне, заложенное в каждого русского человека, для которого декабрь – это, конечно, белый цвет, но другой: поскрипывающий, мягкий, объёмный. А не плоский цвет побережья: то ли материка, то ли острова.

Причалило очередное судёнышко с туристами, и Саша, лениво взглядевшись, обнаружил в толпе сходящих на берег «паломников», знакомую фигурку Таис с этюдником, висевшим через плечо.



Через минуту он стоял перед ней. Откровенно улыбался, а она – в белых шортах, белой майке, на белом песке: словно преломленный через стеклянную призму солнечный зайчик, в котором без труда различались красные, оранжевые, синие – глаза – лучи.

– При-и-вет! – как старому знакомому, произнесла Таис. – А я думала, что больше не увидимся.

– От нашего отеля до вас три километра, – словно оправдываясь, произнёс он, снимая с её плеча этюдник.

– А ты узнавал?

– Чего ты с ним? – показал на этюдник Саша. – Что тут рисовать-то? Всё белое, как лист бумаги.

– А ты на море посмотри. Долго смотри. Теперь на песок переводи взгляд. Какого он цвета?

– Оранжевого, – удивился Саша. – И ты, будто розового...

– А говоришь: «Белый», – она рассмеялась.

– Там рыб разноцветных! – показал Саша в море. Плывём?

Таис быстро скинула одежду и, не дожидаясь пока он опомнится, побежала к морю. Отплыла, перевернулась на спину. Он догнал её, – и среди всей палитры красок, которые предлагало море, оттенков, названий которых он не знал, – он опять в удивлении выделил глаза. Их синий цвет был для него прост и понятен. Ныряли, плавали рядом, улыбались друг другу, восхищаясь нереальностью предметов в нереальной среде, их окружавшей. Потом лежали на песке, болтали (он и не помнит о чём) и осталось у него ощущение, что она владеет другим языком, в их математической семье незнакомым, который к его, Саши, внешним впечатлениям, добавлял внутренний отсвет, даже одушевлял то, что казалось неодушевлённым.

Оставшиеся три дня Саша каждый день шлёпал по автостраде, которая буднично шоссировала пустыню, к отелю Таис: утром – туда; вечером, на красный круг, падавший в море – обратно.

– Любовь на первый взгляд, – подтрунивал над ним шеф.

Саша не поправлял его ломаный русский. Ночами, лёжа на спине в кровати, он смотрел за окно на чужие звёзды, запоздало пугался за себя – одинокого среди пустыни и бредущего неизвестно откуда и куда; тут же это странное ощущение себя – крошечного, усиливалось недавно испытанным в предночной Гизе, среди пирамид – неземной юдоли чужих гордынь и чужих печалей.

\* \* \*

В кабинете шефа висит теперь рисунок Таис, немного наспех исполненный карандашом портрет господина Марчелло. А в комнате Саши – его собственный портрет. Он видит, что его лицо использовали как удачную фактуру для оригинального замысла: его нос; нелепые уши; освобождённые от очков, растерянные глаза. Отводит взгляд от портрета, но непреодолимая потребность взглянуть, словно призыв прислушаться к своей душе и распознать самого себя. Уже сколько лет, Таис не даёт ему покоя, заставляя бережно вспоминать их редкие встречи за эти годы, первое впечатление от её глаз на белом зное африканского песка, – глаз синих, внимательных, восприимчивых, в пушистых ресницах. Но с каждым годом делать это становится всё труднее.

### 3

Зима не могла не взять своего. А в конце февраля озверела, нагрянув морозом. Именно в тот момент, когда все уже расслабились в предвкушении первого весеннего праздника: с цветами, вдруг укороченными юбками и тонкими колготками из-под них.

Кто-то, кому-то, за что-то не заплатил вовремя, этой промашкой зима и не промедлила воспользоваться. Отключённые от тепла трубы НИИ, где арендовал площади Кирилл, прихватило за ночь. В административном корпусе, облагороженном евроремонтом и кондиционерами с воздушными завесами, – было ещё терпимо, но наутро в цехе и в закутке Кирилла, торосами громоздилась наледь. А на двери цехового туалета появилась лаконичная, написанная мелом надпись: «Не срать!» Лопнувшие трубы, словно объевшиеся вспоротые удавы, висели вдоль цеховых стен, и лишь в холле, перед кабинетом директора издевательски журчал фонтанчик среди жухнувшей на глазах зелени.

У Кирилла на станке разморозило систему охлаждения, и триста литров перемешанного с водой масла необходимо было теперь заменить, предварительно перебрав всю внутреннюю начинку системы. «Ну почему я не живу где-нибудь в Марокко?! – задавался риторическим вопросом Кирилл и тут же успокаивал себя. – Зато у нас жары такой нет. Тоже не подарок для термопластавтомата. Опять с хлеба на квас перебиваться», – грустно подумал Кирилл и побрёл в цех договариваться с рабочими о предстоящем ремонте.

Часть рабочих сидели вокруг круглой печи-термички, в которой обычно закаливались детали. Каждый навьючил на себя всё, что было в их скудном рабочем гардеробе: рваные промасленные телогрейки; вышедшие из моды китайские куртки с изломанными молниями и даже женские изношенные шубейки. Грелись.

– Мужики, помочь надо, – начал разговор Кирилл, присаживаясь в круг. Но никто даже уха не наострил. – Калым есть, говорю.

Тут уже физиономии повернули, хотя и не особенно приветливо.

– Упали твои акции? – ухмыльнулся один из рабочих с мелким, завистливым взглядом. Это он всегда пытался чем-нибудь насолить Кириллу: то кран-балку не поделят; то «оборотку» незаметно отключит – держал, в общем, для Кирилла кукиш в кармане.

В цеху, как на «зоне», все и всё друг про друга знали. Но Кирилл был для рабочих не разбери-поймёшь. Прошёл слух, что он бывший директор, да и сейчас, вроде, сам себе хозяин, но видели его здесь всегда в рабочей «спецухе», с утра до вечера за станком. Раз попросили за бутылкой съездить – не поехал. Газеты ещё читал у станка – иногда они видели это через приоткрытую дверь его автономного производства.

– «А я ведь к вам неспроста приехала-то, мамынька», – криво ухмыльнулся крестник Кирилла, явно кого-то цитируя и давая понять, что тоже – фрукт не простой.

– Ну, так, что? – ещё раз спросил Кирилл, пытаясь непринуждённо улыбаться.

– Сколько? – по-деловому осведомились двое рабочих.

Крестник тут же встрепенулся, поняв, что его могут обойти.

– Мне двоих нужно. Пошли на место, посмотрим, – Кирилл привстал и, уже уходя, не зло похлопал по плечу крестника. – Меня не раз в бараний рог гнули из-за того, что вот таких, как ты – работяг, в обиду не давал. Не согнули. А ты не дёргайся, кран-балку лучше сторожи. Или в туалет к начальству сходи. Навали им со зла кучу, можешь за меня тоже.

Вечером Кирилл лежал на диване, размышлял – где брать деньги на ремонт. Подтрунивал грустно над собой: «Бур-жуй!»

Даже двоюродный брат Славка, сын дяди Толи, и тот (было время) недолюбливал Кирилла. С тех пор, как Кирилла выбрали директором, Славка – такой же, как отец извечный

рабочий, стал желваками за редкими застольями поигрывать. Ну, не ездил никто в их родне на служебных машинах, за границу не ездил, по телевидению с умными речами, да критикой президентских указов не выступал! Не умничал, короче! Встал сутра, пол-литра воды брусничной опрокинул, и к семи – на работу. Вечером с ребятами из бригады по двести грамм залудил – к телевизору. Смотри, слушай, чего там умные люди говорят, которым по жизни положено, – но не Кирька же! Пивка ночью захотел – пожалуйста! Не при советской власти. Славка упрекал Кирилла, наверное, сам не зная в чём: за высшее образование; за директорский пост; за статьи в газетах с непонятными терминами; за то, что в детстве книги читали одинаковые, часто в очередь беря их в библиотеке, – а жизнь организовали по-разному. Но когда предали, сдали Кирилла, Славка сразу успокоился, даже червонцы стал стрелять у Кирилла чаще. И отдавал в срок, не как раньше, и хотя делить-то было нечего, всё равно за своего Кирилла не принимал, держал в почтительном отдалении. Особенно, когда был должен.

«Буржуй-то, буржуй, – всё размышлял Кирилл, ворочаясь с боку на бок, – а семью кормить надо».

Ревизия станка показала, что денег вложить в ремонт требуется куда больше, чем он предполагал с наскоку. Одного масла на замену надо прикупить тысячи на три, плюс – рабочим, плюс – ремонт системы... и этих «плюсов», что крестов на кладбище. А ведь совсем недавно жил иначе...

\* \* \*

ГЮЛи вели себя в приёмной одного из помощников губернатора довольно вальяжно. Лёша Прокопович азартно гонял горнолыжников по трассе, безжалостно щёлкая по клавиатуре компьютера; Юлек – забалтывал секретаршу; Гриша – как всегда листал какие-то бумаги, попивая кофе и кроша печенье на стол помощника.

«Может быть, сам губернатор в учредителях нового предприятия?» – размышлял Кирилл, пристроившись в углу кабинета.

Почти три месяца, как Кирилла приняли на работу в научно-производственное объединение «Регионспецстрой», а он не переставал удивляться бесшабашной лёгкости, с которой решались многие, если не все, вопросы в их фирме. Начиная от претенциозного названия (не по Сеньке была шапка); кончая приобретением офиса и планами на будущее – прибрать к рукам периферийный завод. Откуда пёр фарт: от хитрости, расчётливости; от избытка страстного желания, от которого еврейские, толстые губы Юлека были всегда влажными – прямо слюнки текли, – Кирилл понять не мог. Но и его охватил азарт сложной, не до конца понятной ему игры (так в детстве он с упоением участвовал в военной игре «Зарница»), где вместо паролей – экономические термины, а вместо незаряженных автоматов – приватизационные чеки. Генеральный штаб ставки находился здесь, совсем рядом с кабинетом губернатора, в приёмной его помощника, куда Кирилла сегодня и пригласили.

В учредительные документы «Регионспецстроя» Кирилл нос не совал, но схватил на лету, что помощники губернатора свои интересы в делах фирмы имеют. Недаром с такой лёгкостью заполучило их мнимо-научно-производственное объединение офис в уютной церквушке в самом центре города, стоявшей раньше архитектурным памятником.

– Кого ждём? – спросил Кирилл у Лёши Прокоповича, который с упоением продолжал играть на компьютере.

– Мистера Твистера! – весело ответил Лёша, не отрываясь от игры. – Есть, блин! Двадцать три секунды! Почти рекорд.

Иногда Кириллу казалось, что Лёша парень легкомысленный, но, что он не считал ворон – это точно. Его трудолюбию можно было позавидовать. И всё это естественно сочеталось. Сядь, например, Кирилл поиграть на компьютере здесь, в губернаторской резиденции, точно

сочли бы за Богом обиженного, а Лёхе ничего – сходило. Потому что он мог неделю сидеть, схемы составлять, с Гришей варианты просчитывать. Иногда Лёха кипятился, когда Гриша, раздумчиво поглаживая лысину, с чем-то не соглашался.

– Гриша, – возмущался Лёха, – ты ж на своём мясокомбинате, когда там работал, собаку съел на таких делах, чего же сейчас в ступор встаёшь? – Гриша соглашался, но медленно.

Сейчас Гриша допил свой кофе, доел печенье, стряхнул со стола крошки в ладонь, выбросил их в корзину, опять взялся за справочники. Он очень любил детективы и справочники, которые, как стены кельи позволяли ему уходить в самого себя и как бы фетишировали его замкнутость.

Кирилл, уставший сидеть без дела, пошёл покурить. В коридоре он нос к носу столкнулся с губернатором, который в сопровождении трёх человек быстрым ленинским шагом шёл по ковровой дорожке. Увидев, что Кирилл вышел из кабинета помощника, губернатор кивнул на ходу, спросил:

– Мистер Даймонд ещё не появился?

– Нет, – ответил Кирилл, несколько не удивившись внезапному диалогу.

Губернатор был моложе Кирилла лет на десять. От его волос так и веяло морозом Сенатской площади, порохом восстания, но – неожиданно для него самого – обернувшегося удачей, победой, за которую ни виселиц, ни каторги. Ходить по коридору степенно, как подобало обкомовским работникам, которые высиживали здесь до его прихода, молодой властитель был не обучен, да и китайских церемоний вокруг него пока не наблюдалось.

Американский консультант, мистер Даймонд, появился минут через пятнадцать. Он, будто вспоминая, как это нужно делать, церемонно поучаствовал в непривычном для него обряде рукопожатий. Дошла очередь до Кирилла, и тот ощутил старческую, сухую, но ещё крепенькую ладошку иностранца. Выглядел он респектабельно, бестревожно.

«А чего ему? – с неприязнью подумалось Кириллу. – Не у них страну развалили. Вот бы от их» соединённых «несколько штатов оттяпать: Калифорнию, Аризону, Техас – например. Интересно, как бы закудахтали», – но вслух, осторожно пожимая руку, сказал с приязнью:

– Луисвилл, сэр?

– Йес.

Лёха не преминул сострить, подмигнув Юлеку:

– Вы, часом, не с Конотопа, товарищ?

– И шо? – поддержал Юлек.

– А я ж с Бахмача. Земляки!

Кирилл усмехнулся:

– Надо было ему сказать: «Янки, гоу хоум!»

– Слушай, Кирилл Николаевич, – Лёха дружелюбно похлопал его по плечу. – За что мы тебя все уважаем, так это за твои искренние коммунистические убеждения. Покури лучше сходи, не трепли себе нервы. Твой час впереди ещё.

Когда вернулся, все сидели, наморщив репы: как на халяву заполучить больше акций приватизируемого завода. Рисовал схемы мистер Даймонд, похоже, уже апробированные с его помощью в области. Вежливо, но настойчиво, по-английски, с ним дискутировал Лёха.

– Чего он говорит? – Юлек плохо знал английский язык и требовал от Лёхи перевода.

– Надо, чтобы наш «Регионспецстрой» стал стратегическим партнёром завода. Есть такое понятие в «Положении о приватизации». Тогда часть акций, которые не выставляются на аукцион, а остаются у коллектива, может быть передана нам по льготным, бросовым ценам, а не аукционным.

Юлек схватил на лету.

– Сколько процентов?

– Пятнадцать.

Кирилл поддался общему азарту, но задумался: «Что мы можем предложить заводу, в качестве стратегического партнёра? У нас же, кроме офиса, красных пиджаков, да амбиций – и нет ни хрена. Четырёх месяцев не прошло, как организовались».

– Залог надо платить, – сказал Гриша, почесав лысину.

– Ай доунт андэстэнд ю, – вежливо склонил голову американец, не поняв Гришиних опасений.

– Это мы между собой, – улыбнулся ему Юлек и повернулся к Грише. – Ты раньше не мог этого сказать?

– А вы спрашивали?

– Брэк, – скомандовал Лёха. – Пошли, покурим, – они вышли, а Гриша остался. Он не курил и следил за своим здоровьем.

Уже в туалете Лёха небрежно спросил Юлека:

– Может, подключим этого?

– Рано.

– Ну тогда...

– «А вот это давайте попробуем...» – оба, оценив известную шутку, рассмеялись.

Вклинился в разговор и Кирилл.

– Надо в учредители «Регионспецстроя» включить руководящий состав этого завода. Тогда у них интерес появится. Не только стратегическим партнёром нас признают, а... – он не договорил, потому что увидел, как переглянулись Юлек с Лёхой.

– Тебя, Кирилл Николаевич, вроде на подписании учредительных документов не было. Откуда всё знаешь? – Юлек глядел настороженно.

– Думаете, одни такие умные? Главбух есть в учредителях?

– Есть.

– тогда проще. «Чеченскую авизовку» сделать надо, – у Кирилла будто заклинило что-то.словно в пределах души, лабиринта, где страсти и разум – разыскали потаённый уголок, в котором ларец с надписью: «Парень не промах». А все остальные двери закрыли на глухие замки.

– Я тебе говорил, что его в учредители надо вписать, – Лёха последний раз затянулся сигаретой и выбросил её в урну. – Вместе работать и этих мудаков окучивать. Ты, Юлек, усёк, чего он предлагает?

– Усёк, – ответил Юлек, удивлённо взглянув на Кирилла. – Давай Гришу сюда.

Гриша врубался недолго. Он похлопал наивными девичьими глазами и стал перечислять необходимые для фальшивой платёжки атрибуты.

– Компьютер здесь в приёмной есть, платёжки с банковским штампом – есть, ксерокс – есть... А деньги сейчас и по месяцу в банках гуляют. Поди, разберись. Им бы лишь копия платёжки о перечислении была, для оправдания если что. Главбух не выдаст – свинья не съест. Помощника губернаторского в курс вводить будем?

– А як же ж! – довольно потирая руки, уже радовался Лёха. – Письмо-то, что мы серьёзные стратегические партнёры – здесь подписывать будут. Ну, ты, Кирилл Николаевич, даёшь! А говорил: «Коммунист».

– Я только мысль подал, – но у него уже скребло на душе.

Всё вышло как нельзя лучше. Насобирали по цене «бутылка за штуку» у нежелающих верить, что приватизация всерьёз и надолго, ваучеров, которых не только на пакет для стратегического партнёра хватило, а ещё и руководящему составу завода осталось, чтобы и они солидный пакет отхватили. Всё вкуче уже позволило развернуть плечи и влезть в аукционы, где только очень ушлые люди могли разобраться в длинном перечне приватизируемых предприятий и сообразить, куда и как вкладывать странные бумажки достоинством в десять мифи-

ческих тысяч, которых – если поодиночке – не хватало даже зад потереть, да и бумага была неподходящая. Жёсткая была бумага.

\* \* \*

Это потом, потом, через год-два Кирилл задумается над тем, что в порочную технологическую цепочку захвата конкретного завода, и он вставил своё, наверное, ключевое звено. А поначалу, уже к осени 93-го года, он с женой впервые отдыхал по путёвке на Кипре. И ГЮЛи с жёнами уехали от трудов праведных в дальнее зарубежье: кто в Испанию, кто – в Израиль. Уже три месяца завод находился в их руках, а после Кипра директором должен стать Кирилл. Но товарные потоки давно и прочно осели в «Регионспецстрое», принося немалые прибыли.

Заводу возвращали пока немного: себестоимость, за которой, впрочем, бдительно присматривал Кирилл. Иногда не возвращали в денежном эквиваленте и этого: немного подкорректировали папу Карла, изъяв из формулы «товарно-денежные отношения» понятие «денежные». Брели ходовую продукцию завода, а расплачивались бартером. Здесь рулил Лёха. В этом деле: поменять шило на мыло, да ещё с приваром – он был не просто ловок, но и плутоват. В общем – продувная бестия. Но делал он всё с такой искренней уверенностью, что Кирилл начинал верить: именно этих синюшных курёнков или «килек в томате», рабочие полухинского завода, а теперь уже открытого всем бедовым ветрам акционерного общества, – отродясь не едали. Только и ждут, когда этими деликатесами за их трубы расплатятся: «Батюшка ты наш, кормилец!»

Но было бы смешно, если бы иногда не становилось Кириллу грустно.

В жизни его пороли один раз. А надо бы, как минимум – два. Теперь понимает – три.

Они – погодки сталинской и послесталинской эпохи свалились на шею бабушки не по своей воле. Кирилл с сестрёнкой, двоюродный брат Славка – с сестрой. Жили в одном частном доме, питались с одной кастрюли.

– Паразиты, свалились на мою голову! – часто, устав от раннего вдовства, от незаживающих ран за двух погибших в «Отечественную» сыновей, бурчала бабушка, не зная чем их накормить. – Что же вам каждому наособицу готовить?! – и угрожающе гремела у печки ухватом.

Однажды, держась, кто за подол, кто друг за друга, – они выходили с рынка и кланчили у бабушки на мороженое.

– Какое мороженое! Опять дохать будете! – не зло пыталась отвязаться она, украдкой пересчитывая в кошельке мелочь.

Стояло лето, и чёлка прилипала ко лбу под панамкой Кирилла. Он брёл, цепляя рантами сандалий пыльную землю, и слушал, как канючит Славка. Увидел, как идущая впереди женщина обронила деньги. Не заметила. Бумажка оказалась рядом. Он нагнулся, будто вынуть камешек из сандалии, подобрал бумажку, на которой стояло число «100». Зажал в левом кулаке и догнал бабушку. Она всегда водила его с левой стороны, держа за руку. В другой руке – сумки. Старшая двоюродная сестра Галька тащила на руках маленькую Нинушку, а Славка плёлся рядом, продолжая ныть. Кирилл мог вернуть деньги, но левая его рука не разжималась. Так и шёл: в левом кулаке – деньги; правая ладонь – в ладони бабушки. Но перед единственной на их Песках асфальтовой улицей, по которой иногда ездили машины, бабушка решила поменять сумки. И он, перебежав к правому её боку, сунул сжатый кулак в её руку.

– Кулак-то разожми, держись крепче, – тут всё и обнаружилось. Кирилл и рад был уже вернуть «сотню», да женщины-то след простыл.

– Это почти половина моей пенсии! И молчал пар – разит! Вот, смотри, Николай. Вырастили. Копейки сроду чужой не брали! – бабушка сама наказать не взялась, любила Кирилла и прощала многое.

Отец порол неумело. И как сейчас понимает Кирилл – не за то, что подобрал, а от отчаянья: вкалывают с матерью сутра до ночи, а детям на мороженое в шоколаде не всегда хватает; если и покупают, то в бумажных стаканчиках по девятисто копеек. Куда на сто мороженных деньги подевались, Кирилл так и не узнал. Через месяц, правда, сандалии новые купили и бархатную с красно-зелёным орнаментом феску, в которой он не узнавал себя сам. Смотрел в зеркало, а оттуда глядел на него незнакомый турчонок.

С тех пор закрыл чулан души с корявой надписью «корысть» и никогда не открывал больше. Всегда казалось, что заросло там всё, как чердак паутиной, замок заржавел и ключ потерян. Так нет – открыли.

И кто? Само государство сняло с ржавых петель дверь, спросило: «Это что за подклеть? Вывеску – сменить. Напишите – „предприимчивость“. Закуток – использовать. Весь Запад так живёт».

И не посоветовало, а приказало даже. А ведь у каждого такой чулан своего часа дожидался.

В последнее время у Кирилла бессонница. Или же будто спит, но каким-то тревожным сном: в страхе за семью, детей особенно; в поисках себя самого – больше прежнего, генного уровня, когда Будда помнил себя козлёнком, а Толстой – как его пеленали. Но Кирилл в поисках пошёл в такой космос, которого пугался сам. Хотя тяга к поиску была наследственной, от отца. Он был человек, физически несовершенный, изуродованный в детстве полиомиелитом, от которого остался горб. Отец не мог самоистязать себя физически и получать от этого удовлетворение или приносить пользу обществу, но Всевышний наградил его другим – дал право на благородство, проницательность, совесть и скромность, и, странную для его времени – мечтательность.

Только теперь, когда в своей горячности и поспешности, уже Кирилла дети, возвращали ему то, чем он так бездумно, упрямо, несправедливо и неразумно истязал когда-то отца, Кирилл стал искать пространство, где ветры позволяли дышать. Паролем к входу туда были всего две согласные буквы в корне их фамилии Баратхановы. Этим редким для русских просторов гортанным сочетанием «тх» – словно удар молнии из туч – занимался ещё отец. А теперь – Кирилл. Но если для отца поиск своих корней был частью жизни, то для Кирилла – только отдушина и попытка распахнуть окно в тесной, душной келье.

Заполночь Кирилл взял рукописи отца и стал перечитывать цитаты из древних философов, которых отец любил: «Много ветров скапливается вместе, возвращается с силою и воспламеняется, а потом часть их обрывается и с силою рушится вниз, образуя молнии... Облака трутся и рвутся, образуя громы, наполняющие пространство»

И знает, что надо уснуть, но не может. Тогда по придуманной для себя схеме он взбирается на шершавую, широкую, надёжную, как диван в детстве, спину слона и, покачиваясь в такт мыслям, плывёт по Земле к своему прошлому...

## ***СЛОН № 1***

### ***Раб***

Шёл триста сороковой год дохристовой эры. Люди не знали, что пирамида их перевернута: они спускались по её ступеням, но им казалось, что – взбираются по ним. Их годы отсчитывались от большего к меньшему. Они жили племенами, брали в полон рабов и радовались этому.

Но уже ушёл от войн Иехония и переселился в Вавилон, чтобы дать жизнь Салафиилю, от которого родится сын Зоровавель, а от него – Авиуд, сыном которого станет Елиаким родивший Азора, ставшего отцом Садока – и от него уже начала существовать последняя из девяти групп устной памяти рода Христова, возглавил которую Ахим – сын Садока – радовавшийся сыну своему Елиуду, родившему ему внука Елиазара, род которого продолжит Матфан, передавший память рода сыну Иакову – отцу Иосифа – он, в любви с Марией и принесёт миру Христа, от которого и начнётся другая эпоха.

Но это будет потом. Пока же колесницы и кони гортанных персов покрывались чужеземной пылью, храпели и дыбились под своими горластыми всадниками, и развлекались вместе с ними, беря в галоп, и не ощущая тяжести привязанного на верёвку раба, кувыркавшегося позади, и окропляющего своей кровью убегающую из-под него родную землю; и в восторге взвивались ввысь стрелы лучников, превращаясь в точки; и доставали непокорные спины рабов жала длинных копий; и бичи, погоняя, заносились над спинами рабов, змеями извиваясь над ними.

Но и эти игры надоедали животным, тогда они переходили на рысцу и, бредя медленным строем, клонили храпящие морды влево, навстречу красному, падающему в степь, солнцу.

– Камар! – раздавался в предвечернем походном шуршании голос шахе.

Повелитель войска привставал в колеснице, взмахивал рукой в направлении синевшего вдали холма, который стал теперь виден; и все, ведомые шахе, прищипоривали своих коней.

И опять раб, индус Ратхама из последних сил прибавлял шаг, переходил на бег; натянутая верёвка резала запястья, но он уже знал, что скоро крикнут: «Бахтан!», – и это будет означать остановку на длинной, непонятно куда, дороге. Рядом с подножьем холма так и происходило. Спешивали коней, ятаганом обрубали верёвку, потом, полоснув по спине раба бичом, смеялись:

– Якши, батур! – и кидали под ноги кусок лепёшки.

– Ратх... ма, – вскинув голову, произносил в ответ раб.

– Ешь, собака, – смеялся один из персов, ещё раз опуская бич на спину раба.

– Ратх... ма – упрямо повторял тот.

Вольный звук «а» вдруг проглатывался пересохшим горлом вместе с болью от ещё одного удара: исчезал и не показывал эту боль. Горек был этот глоток, как вытоптанная копытами полынь на майдане у холма; и короткий, как степная ночь перед утренней, дальней дорогой.

– Ратх... ма! – повторял раб-индус, вскидывая голову на обидчика.

– Что ты стонешь, пёс?! – усмехался перс и уходил к костру, где уже гуртом кружили воины.

Ратхама же садился на тёплую землю, разжимал ладони и наконец выпускал из рук три плоских маленьких камушка, на которых были начертаны и его прошлое, и его будущее.

«Шесть раз ты будешь переставлять знаки, начертанные на камнях этих, – вспоминал Ратхама голос своего отца брахмана. – Пять имён – это предки твои: я – отец твой, дед, прадед, отец прадеда и дед его. Шестое имя – твоё. Ра – это солнце, под которым родились все и воздух, которым дышат. Ма – это часть земли, где родился род твой. Тха – это то, что тебе предстоит открыть в себе. Выживи и роди сына, и снова переставь эти камни, и дай ему имя, и оно не твоё, но рядом будут знаки, составившие его; а пятый в роду от сына твоего вновь сложит твоё имя. В других землях не будет хватать звуков, знаков и слов, но не жалея чего знаешь ты, поделись этим. Пусть через сотни лет кто-то повторит то, что скажу тебе: „и дам ему белый камень и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает“, – пусть повторят за мной, а когда услышат это потомки твои, то пусть гордятся, но не возгордятся этим.

Ты же Расскажи, кому сочтёшь нужным, что есть рукописи наши – „Рамаяна“, „Махабхарата“, в которых написано: „...Колесница эта передвигалась сама по себе... Она имела два этажа со многими комнатами и окнами... Когда колесница совершала свой полёт в воздухе,



она издавала однотонный звук, была как комета в небе... как огонь в летнюю ночь... Приводила её в движение крылатая молния. Всё небо было освещено, когда она летела по нему. Она сразу превращалась в жемчужину в небе. В таких колесницах жители земли могут подниматься в воздух, а небесные жители спускаться на землю. Эта колесница умела летать в солнечные области и в звёздные области...“».

Так говорил брахман, и дрожали его руки, когда он отдавал камни сыну своему из семейства маратхи.

– Что всё время бормочет там этот индус? – задумчиво спрашивал у костра шахе – повелитель удачливого войска.

– Юз этой собаки ещё смотрит на мир; акка ещё не каркает над его телом; и он повторяет, по моему, «рахмат», наверное, говорит тебе ладыка: «Хорошо, что хоть так сделал».

Македонские сабли царя Филиппа пощадили гладко выбритую голову шахе, и сейчас на ней, устало опущенной, отсвечивались сполохи костра. Останки его, разбитого ещё Филиппом войска, были дерзки, смелы и беспощадны, короток был взмах ятагана любого из них, так же короток был и язык их. И не существовало в нём слова, значащего – благодарность. Шахе устал воевать и ему хотелось, что бы кто-то благодарил его, а воины пели песни, которых у них не было. Он понимал, что раб не может говорить то, что думали его недалёкие воины. «Пусть будет так!» – решил он, поднимаясь над сидящими вокруг.

– В нашем языке мало слов, и отныне пусть будет ещё одно: «рахмат!». Каждый, принимающий от кого-то в дар, пусть произносит его.

«Ратхама», – слышался гордый шёпот на другом круге майдана, а течение воздуха обрзовывало вокруг ветры...

## 4

Александр казалось, что этой весной на всю Италию обрушились дожди. Но это было не так.

Причудливые облака, вдохнув воздуха Альп, плыли на юг через Ломбардию. Они впитывали влагу Корсиканского пролива в Тоскане, и вод Тирренского моря, а продолжая свой путь вдоль побережья, твердели от образующихся в них льдов и ломались, зацепившись за Везувий; и, треснувшие, врывались в Калабрию, гремя громами, и проливаясь ливнями.

Александр ехал навстречу тучам. Шоссе в Неаполь жалось к угадываемым в дожде горам. Убегая от непогоды, он держал максимальную скорость. Часа два уже был в пути, мокрая дорога нервировала, но до усталости не напрягала. И хотя «все дороги вели в Рим», он, уже въехав в уютную Торре-Аннунциату, свернул с основного шоссе на узкую – сквозь коридор апельсиновых деревьев – дорогу, которая была ближе к морю и скоро вынырнула в пространство, открыв перспективу. С небольшого холма стало видно далеко вперёд, где внизу на ровном плато, сливающимся с плоскостью моря, простирались длинные ряды виноградников, опушённых молодой зеленью. Там, внизу, дождя почти не было. Настойчивое солнце выплёскивало полуденный свет сквозь разрывы туч, и, словно гигантский прожектор, обследовало световым пятном: виноградное плато; поросшее деревьями взгорье справа от виноградников; бело-розовую цепочку дальних, угадываемых вдали домов. Резкий весенний ветер вспенивал прибрежные воды залива, делая их белыми, пушистыми, и приносил оттуда чуть слышный, но воодушевляющий шум.

На этот шум и ехал Александр, зная, что скоро Неаполь и там, как это бывало всегда, он сделает небольшую остановку. Так и произошло. Он оставил машину, узкой, вымощенной крупной брусчаткой, улицей, спустился к набережной Санта Лючия. Здесь, в бухте, море было спокойней. Оно шуршало о белые борта пришвартованных катеров и невысокий парапет гранитной набережной, приглашая к тихим посиделкам. Саша присел за столик одного из многочисленных кафе, лицом к бухте, по берегу которой тянулась эспланада невысоких зданий. Как и многие, заказал рыбу, сок, сигареты. Ещё не было вокруг ярких цветовых акцентов: ни ультрамарина моря, ни красно-жёлтых клумб. Лето только ожидалось.

А когда, возобновив путешествие, он проехал Таррачину, тучи растащило, солнце объявило себя во всю величину, на душе стало по-весеннему чисто. Минут через сорок показались холмы Рима. Квадрасистемы в машине выдавали Высоцкого, кассеты которого он всегда возил с собой, и его голос сбивал сейчас капли зависшего на придорожных кустах, прошедшего недавно дождя.

На одном из поворотов, справа от дороги, насколько хватало глаз, открылась панорама города: надорванный эллипс Колизея; ребристый купол собора святого Петра и огромная площадь перед ним, образованная разомкнутыми полусферами колоннады. В самый центр площади, чуть видимым копьём была воткнута колонна, от которой падала тень.

«Интересно, – подумал Александр, вглядываясь сверху в причудливый абрис площади. – Этот циферблат и эта колонна вполне могут быть огромными солнечными часами. Колонны в колоннаде по кругу – это минуты. Тень указывает время. Сколько его пролетело над этими холмами?»

С каждым годом пребывания в Италии, он воспринимал эту страну по-другому. Да и воодушевляли, будоражили редкие встречи с Таис, которые он так хотел перенести на эту землю, но не получалось. Встречались по случаю в России. Прохладными днями ещё прозрачной, начинающейся осени в кружевах обнажённых ветвей какого-нибудь парка. Весной, но опять ещё с голыми деревьями, талым снегом вокруг пруда с сизой протаявшей сердцевинкой, в которой отражалось бледное, будто чахоточное солнце. Тепло, свет, щедрость на разговор он

получал из писем Таис – даже если приходили они ему по электронной почте. Ощущал удивляющую его участливость, хотя помощь, скорее была нужна ей, а не ему.

Таис он не хотел делиться ни с кем, даже символически. Вот и помчался сегодня по первой её просьбе, присланной по E-mail: «Найди частную галерею: <The Tittoni family collection>. Рим. Попроси показать автопортрет Карла Брюллова. Это необычно. Таис». Брюллов был её кумиром. Давно в октябре 93-го года он стал их ангелом-хранителем, дружкой на несостоявшемся свадебном обряде: разрушенном, разорванном, как изначально целое кольцо Колизея.

\* \* \*

Тогда Саша прилетел в Питер из Лондона, из короткой командировки. С надеждой увидеть Таис. У него было два дня. Уже послезавтра он отправлялся из Москвы в Италию. В Академии художеств дали её телефон. Они созвонились.

– Давай встретимся у Русского музея. Я пишу «курсовую» и мне надо кое-что уточнить. Прямо перед входом памятник Пушкину. Найдёшь?

Даже если бы она сказала просто: «Встретимся на Невском», – он бы её нашёл. Стояли самые первые дни октября: ветреные, тревожные. Суетливый ритм большого города, теперь казался совсем рваным, а сам город чёрно-белым, без светотеней и компромиссов. У Казанского собора, в других местах, кучковались группы, готовые вот-вот слиться и отправиться неведомо куда и зачем. А по набережной Невы под парусами лозунгов и транспарантов уже плыла толпа, расширив пределы реки, бурля внутренним напряжением и перемещениями, выталкивая из чёрного длинного туловища, как дым из паровозной трубы, ритмичное: «Собчак! Собчак!» – но Саше слышалось: «Общак! Общак!»

Но в саду Русского музея, где он гулял, дожидаясь скорой встречи с Таис, было просторно и спокойно: стволы деревьев с изгибами освобождённых от листвы ветвей, мягкие, прозрачные тени, предвкушение встречи.

Как и тогда, в Египте, у Таис на плече висел этюдник, но теперь она была в джинсах и куртке.

– Вот и встретились! – обрадовался он.

– Привет. Ты откуда?

– Из Лондона. А ты?

– Да-а... – она махнула рукой. – Пыталась поработать на свежем воздухе, да какое там! Сам, наверное, видел, что творится. Что ни площадь, то демонстрация.

– Что тут у вас в России происходит, – высказал скорее удивление, чем вопрос Саша.

– У нас? – посмотрела она внимательно. – А у вас? – он понял, что сказал что-то не то. – Ты надолго в Питер?

– Сегодня в Москву, а через два дня в Италию.

– И я в Москву, а оттуда домой, мама приболела.

Он так обрадовался, что она рассмеялась.

– Извини, я не то имел в виду.

– Ну, пойдём, – она взяла его под руку.

– Не люблю я этих музеев, – кивнул он, глядя через ограду на изящный восьмиколонный портик фасада здания.

– Зато там тихо, – и она настойчиво повлекла его за собой.

Через несколько минут, они медленно поднимались по широкой лестнице, окаймлённой изящными чугунными перилами. Там, куда вела лестница, против каждого окна, полуовальных поверху, размером в два человеческих роста, возвышались белые колонны, поддерживающие ажурные потолочные своды. «Не хватает марша Мендельсона», – подумал Саша.

Таис повела его через залы, индивидуальность и пышность которых оказалась притягательной. Саша останавливался, крутил головой, разглядывая лепное, резное, скульптурное и прочее, названия которому он не знал.

– Ты что, здесь никогда не был?

– В Эрмитаже, лет десять назад, в детстве. Приезжали с родителями на экскурсию в Ленинград. Здесь и без картин времени не хватит рассмотреть.

– Этот музей сам по себе памятник. Архитектор Карло Росси. Закладывался музей Александром I, как дворец в подарок младшему брату. А потом передан казне. И появилась мысль об организации здесь национального музея, потому что у нас, русских, собственная художественная школа. – Таис хотя и шёпотом, но говорила с таким упорством, будто продолжала давний спор с кем-то неведомым о благе и зле, стояла на своём, хотя Саша не спорил.

Он благодушно улыбался, радуясь встрече. И если бы она сейчас сказала, что все музеи мира надо закрыть, оставив только эту, русскую коллекцию, он бы промолчал. Конечно, она рубила с плеча, но скорее это от возмущённости, истоков которой Саша не знал, а не от состояния, когда беспорядочно порют горячку, не умея связать двух слов.

– Вот мы и пришли, – она ввела его в зал со стеклянным потолком, откуда на светло-коричневые стены стекал плотный поток света.

На мраморных постаментах стояли скульптуры обнаженных юношей, девушек, наверное, с классическими для своего времени пропорциями фигур: топ-модели дремучих столетий, не вызывавшие пристального интереса. Прямо перед Сашей, занимая почти всё вертикальное пространство стены – от пола до потолка – висела картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Сколько раз видел Саша репродукции этой картины. Даже в деревне, куда приезжал летом, в магазине сельпо, висела она в дешёвой рамке, рядом – «Неизвестная» Крамского. Обе покрыты обязательной пылью и облеплены мухами.

Они прошли вглубь зала, сели на красный бархат резного дивана, метрах в трёх от картины. Теперь ничто не мешало видеть только полотно. Сейчас Саша не замечал ни богатого золотого оклада, ни картин, висящих рядом. Красные, багровые всполохи, постепенно переходящие в чёрный ужас ночи, рассекаемый белыми молниями. И глаза, глаза, смотрящие куда-то вверх, влево. Страх, потрясение, ужас, безысходность – в выражении глаз, каждой позе людей. Всё это было так неожиданно рядом, тем более после чопорного Лондона – всего пять часов назад, что Саша опешил.

– Представляешь, – Таис сидела рядом, прижавшись. Ты можешь поехать и посмотреть Помпеи, вернее то, что осталось. Увидеть отпечатки тел в застывшей лаве. Ты живёшь далеко от Неаполя?

– Почти рядом.

– Был там, на раскопках?

– Нет ещё.

– Смотри: там есть отпечатки этой женщины, её ребёнка и того мужчины, и упавшей с колесницы женщины. Следы от испепелённых тел. Карл Павлович даже предметы быта писал по археологическим раскопкам, – имя и отчество художника прозвучало так просто и достоверно, будто он был для Таис преподавателем, или она виделась с ним только что и вела разговор именно о событии в Помпеях. – О Брюллове столько исследований проведено, невозможно открыть что-то новое. Он мне, как человек интересен. Я тебе буду цитировать некоторых искусствоведов, лучше их не скажешь.

Она рассказывала ему об истории создания картины, о каких-то художественных приёмах. Саша слушал, многого не понимал, но незнакомые слова, фразы завораживали: «создание композиционного и пластического строя картины», «тема ноши». Почему нам ничего не рассказывали в школе? – размышлял он сейчас. Их школа была с математическим уклоном,

таким, что даже на уроках рисования их поощряли за правильно нарисованный конус или шар, или тщательно выписанный шнур в рисунке настольной лампы.

– Послушай, что пишет Плиний Младший римскому историку Тациту, у меня есть тут цитата, – Таис достала блокнот. – Это я не сама, конечно, нашла, а Галина Константиновна Леонтьева, кандидат искусствоведения. У неё много исследований о русских художниках, – Таис так произнесла слово «русских», будто убеждала Сашу, что и он не итальянец ещё. – Плиний очевидец извержения Везувия. Вот: «Уже первый час дня, а свет неверный, словно больной. Дома вокруг трясёт, на открытой узкой площадке очень страшно, вот-вот они рухнут... Тогда мать просит, уговаривает, приказывает, чтобы я убежал: для юноши это возможно; она, отягощённая годами и болезнями, спокойно умрёт, зная, что не была причиной моей смерти... – а вот ещё. – Одни оплакивали свою гибель, другие трепетали за близких...»

– Когда это произошло? – спросил Саша, потому что любил математическую точность событий.

– 24-го августа 79-го года.

– Нашей эры?

– Нашей, – Таис встала. – Пойдём со мной. Мне в запасниках нужно фрагменты картины посмотреть. Здесь не все представлены. Кстати, там есть ещё его картины, на реставрацию, видимо, убрали.

В запасниках, Таис, перекладывая полотна с фрагментами картины, опять говорила завораживающими фразами: «ритмика жестов, рук – оберегающих, обнимающих, гневно простёртых к небу, бессильно падающих». Одновременно её руки, будто руки балерины не находили покоя и выражали то, о чём она страстно рассказывала.

Но сейчас, за её спиной Саша видел ещё одну картину, часть которой загородила Таис. Видел лицо на картине и почти рядом лицо Таис. Сходство было удивительным, особенно, когда Саша вспомнил уставшую от плавания и солнца Таис, – там, в Хургаде. Она лежала тогда на песке, прикрыв глаза, а он смотрел на неё, и ему хотелось стать дедом Морозом, чтобы ей не было так жарко.

– Саша, что ты так на меня смотришь?

Он отошёл чуть в сторону, и перед ним открылась вся картина. Увидел нагую Таис, лежащую в полусне на постели.

– Это кто? – взглядом показал он на картину.

Таис повернулась и по-девичьи покраснела.

– Это «Спящая Юнона», но Брюллов её не закончил.

– На тебя похожа.

Она смутилась, потому что ещё никогда и не перед кем не была обнажённой.

Ближе к вечеру они стояли на Аничковом мосту через Фонтанку, и хотя ночью предстояло ехать одним поездом в Москву, расставаться не хотелось даже на время.

– У тебя есть кто-нибудь? – спросил он, боясь ответа.

– Нет, – просто ответила она. – Друзья, но мало. А у тебя?

– У меня в Италии диски с Высоцким, кассеты с фильмами Данелия, ещё – «А зори здесь тихие», «Служили два товарища», «На войне, как на войне». И работа, работа.

Полночи просидели в вагоне-ресторане. Утром, встретившись на перроне Ленинградского вокзала, они знали друг о друге если не всё, то многое. Опять говорили о Брюллове. Он стал для Саши не портретом, не памятником, а живым человеком, который хотел быть свободным и не зависящим от пенсионера Общества поощрения художников.

Если бы Таис и Саша знали, что сегодня и завтра в Москве будут делить власть – они объехали бы столицу стороной. Но они не думали об этом. А Москва уже с утра бурлила и её выворачивало наизнанку. Казалось, она вылёвывала то, чем травила себя всегда. Объявись

стафиллококов с денежных купюр разных стран и достоинств, которые столица, как смерч всасывала в себя ежечасно и ежеминутно и, спутав в пределах Садового кольца все каноны и понятия власти, установленные ещё древними греками, столица стояла на коленях и мучительно повторяла алфавит: «А-а-а... А-а-а. Бля!» Её рвало. И сгустки алчно проглоченного, непереваренного, выплёскивались, вырыгивались наружу, и сыпались искры из глаз, и тёмные круги плавали перед ними.

В садомазохистском экстазе с экранов телевизоров, выставленных напоказ в каждой витрине, даже с больших уличных мониторов, между рекламой, вещали люди, считающие себя политиками и совестью нации. И тот, кто пел «про виноградную косточку», и кто – про «составчик тронется».

То тут, то там организовывались в группы загадочные и мрачные хасбулатовцы. Нервно пощипывали кончики тщательно стриженных щегольских усов, стоящие почти военным каре руцкисты. Чмокали влажными губами и стреляли по сторонам глазами, выглядывая где что плохо лежит – круглые и сытые гайдарчики. Бурбулиски, непонятного пола и возраста, закатывали к небу глаза, вспоминали удачную операцию с развалом Союза и мечтали о следующем этапе. Распушив хвосты, павлинами выхаживали и клекотали горлом о демократии приноводворцы, стряхивая пепел с удлинённых папирос на одежду соседей по тусовке. Между этими клумбами разноцветных, разнополых, разнопахнувших, разновыглядящих человек шныряли, как дореволюционные филера, ещё прыщавые чубайсы и пытались всех примирить, будто секунданты, которым всё оплачено, солидные, приторно-вежливые рафиконишановцы.

Таис и Саша, как шагаловские герои, парили над этим безобразием, искали другой город, испытывая радость от общения, паря на крыльях, не думая о том, что такие, как они – мечтательные – часто и падают с неба на землю. Город существовал настолько огромным, а власть занимала столь малую площадь, что даже в пределах Садового находились тихие улочки, скверы, целые парки, куда лава ненависти ещё не проникла.

Ближе к полудню они вышли на метро «Боровицкая» Моховой – спустились к Волхонке. Таис ничего не навязывала, она просто спросила:

- У тебя время есть?
- Конечно. Я же завтра улетаю.
- А где же ты остановишься?
- В гостинице.
- А мне вечером на поезд. Слушай, ты как в гостиницу собираешься устраиваться? И где?
- В «Украине». У меня там тётка работает. Я ей вчера звонил. Забронировала.
- Как-то у тебя всё безоблачно получается.
- А ты хотела, чтобы были проблемы?
- Мне сегодняшняя Москва не нравится. После того, как Ельцин распустил Парламент,

можно ожидать чего угодно.

- Ты политикой увлекаешься? – рассмеялся Саша.
- Ещё Диоген удивлялся, что рабы, видя обжорство хозяев, не растаскивают их еду.
- Это вам в Академии художеств, преподают?

Таис уловила некоторую иронию в его вопросе. Они спускались по Волхонке к Остоженке. Таис остановилась, глядя на Сашу с некоторой досадой.

– И это тоже. Я денег не могла найти, чтобы в Академию поступить. А мечтала об этом. Если бы не Кирилл Николаевич, не знаю, чем бы занималась, – тогда Саша не обратил внимания на имя и отчество спонсора. – Ладно. Идём на метро. Устроишься в гостиницу, хотя бы вещи положим. Не надоело сумки таскать? А потом – в Дом художника. Я тебя ещё не утомила?

- Ты сегодня какая-то другая.

В гостинице оказалось всё не так просто. Создавалось впечатление, что здесь готовятся к приезду если не делегации, то, по крайней мере, принца Брунея.

– Мне только на день, – уговаривал тётку Саша. Полина Сергеевна, я же вчера звонил.

– Вчера! – она раздражённо махнула рукой. – Это вчера, а сегодня – это сегодня. Подожди минуту, – она отошла с рабочего места и подошла к двум серьёзным мужчинам, сидящим поодаль. О чём-то пошептавшись с ними, вернулась обратно. – Паспорт давай заграничный, и чтобы тихо, как мыши.

Через полчаса они уже были в номере, на тринадцатом этаже. Внизу под окнами текла Москва-река, а на другом берегу возвышалось безупречно правильное и белое здание Парламента, или Верховного Совета. Саша точно не знал, как это теперь называлось.

Ни в какой Дом художника они не попали. Уже на большой Дорогомиловской улице, откуда они хотели повернуть проехать к парку Искусств, на Крымскую набережную, их попросту отговорили.

– Может, не поедём? – Саше хотелось комфортного покоя, как тогда, в Хургаде, а не митингов и демонстраций, напряжение которых ощущалось даже на расстоянии.

Но Таис, словно не слышала. Буквально несколько часов назад она ещё была «спящей Юноной». Аккуратно подобранные в пучок волосы, расчёсанные на пробор, делали её похожей и на гимназистку; теперь – ветер развеивал её распущенные свободно кудри длинных волос; синие глаза сверкали; казалось, что кони запряжены и бьют в нетерпении подковами. Она потащила его к метро, чтобы совсем скоро вынырнуть на станции «Октябрьская», название которой оказалось столь символическим.

Близилось три часа пополудни. В метро было ещё тихо. Но наверху, над эпицентром начинающихся волнений, уже барражировал вертолёт. Он висел над виртуальной точкой бермудского треугольника событий, которая по теореме Эрдёша-Морделла, определяла логику расстояний до ключевых точек, а главное – вершин образовавшегося сегодня треугольника: Кремль-здание Белого Дома – Крымский мост, который с высоты птичьего полёта обозначался всё более явственно. И если на Крымском мосту – одной из вершин треугольника – всё только начиналось, то по стороне его основания, Калининскому проспекту, уже был виден вихревой поток, вектор которого был направлен в сторону Белого Дома. Один из самых бездушных проспектов столицы, – огороженный вдоль безликими зданиями-книжками, в чьих строках невозможно было прочесть ничего, тем более, сейчас, когда солнце бесстрастно ярилось из тысяч, обрамлённых алюминием одинаковых окон, – однообразной визуальной средой раздражал толпы людей, собравшихся восстать против своей серой жизни. И это агрессивное архитектурное поле возбуждало в них враждебность и ненависть. Каждый из собравшихся держал свой камень за пазухой и готов был стереть с лица земли весь проспект, или хотя бы его символы. Пока они стояли спиной к Кремлю, и это успокаивало военных, наблюдавших из вертолёта, но им было ясно, что часть символов, например, мэрия, будут скоро облеплены массой, и тогда застарелый, выжидающий случая гнев, превратится в глумление и издевательство. Тревожно-одиноким было вокруг. Светило солнце, но все твари и человеки, ещё недавно, по субботнему благодушно порхавшие в воздухе, словно в ожидании бури опустились ближе к земле, оставив воздушное пространство для боевых действий. «Держите наготове пулемёты! – неслись команды из Кремля на барражирующий вертолёт. – Ведите наблюдение за напряжёнными точками, твою мать!» Сидящие в вертолёте ожесточённо играли в карты, в переводного дурачка, стараясь скинуть соседу некозырную колоду «швали». Теперь и под ними, на Крымском мосту, творилось невообразимое. Около четырёх тысяч человек пытались прорваться на Зубовский бульвар. Военные цели атакующих были конкретны: к Смоленской площади, а далее, слившись с другим вектором волнений – потоком с Калининского проспекта – к Белому Дому.

Скорее всего, о сидельцах, которые вполне добровольно находились сейчас в здании бывшего Парламента, никто не думал. Внизу, под мостом, рябили мутно-коричневые воды Москва-реки. Сзади напирала толпа единомышленников и любопытных, а может, провокато-

ров. И если даже кто-то одумался, деваться уже было некуда. Толпу ещё раздражала фаланга экипированных, словно тевтоны, бойцов. Они, дрожа от страха (ещё не забылись первомайские события), стучали по асфальту щитами, и этот тупой стук вставал поперёк горла наседавшим. Он доводил их до белого каления, а некоторые уже готовы были перегрызть глотки «ментам».

Таис и Саша оказались в самых передних рядах демонстрации, над которой, впрочем, уже витала ярость, хотя до опасного контакта с баррикадой из щитов, дело ещё не дошло. Рядом с Сашей стоял почти юродивый с глазами Ивана Грозного, убивающего своего сына, наверное, когда-то в упоении перешагнувший предел, установленный для него, и прочитавший то, что для него было табу. Может быть, слабый душой и телом, он пустил в себя тайны Библии, ужас навечно обуял его, и с тех пор на нём не стало лица. Он стоял сейчас, обсыпанный струпами перхоти, и размазывал по белому листу лица, блестящие на солнце сопли и слёзы. Его, почему-то изогнутое, как коленвал, тело, наверное, призывало к победе, и он что-то шептал. Саша, потрясённый его видом, прислушался.

– «Медлили те и другие; но Зевс от небес возбуждал их», – он глядел Саше в глаза, указывая неестественно длинным пальцем в небо, где висел вертолёт.

Саша поднял голову и непроизвольно его колени подогнулись.

– Что, парень, гайка ослабила?! – зло хохотнул рядом другой, краснощёкий, как разрезанный арбуз, мужик. – Вперёд!!! Б-твою мать!

По бокам и сзади раздались вопли и крики: «Ура!»; «Дави их!»; «С флангов обходи!»

«Какие фланги? – подумал Саша. – Батальон бойцов спрессован и вбит в горло моста, как пробка в бутылку, – тут же испугался, – где Таис!?»

Между двумя колоннами оставалось метров десять пространства. И хотя пробка была забита туго, масса людей, желающая растечься по проспекту, ширь которого манила впереди, могла при желании тремя-четырьмя ритмичными волнами вышибить заглушку и выплеснуться наружу, неся в себе пьянящую свободу и будущие подвиги. Таис и два парня её же возраста стояли сейчас в воздушной прослойке на расстоянии нескольких шагов от щитов. В прорезях щитов блестяли глаза почти что их сверстников.

– Таис!! – закричал Саша, рванувшись вперёд.

Она обернулась разгорячённым, незнакомым лицом, и Саша понял: они попали сюда не случайно. Неизвестные ему центробежные силы со вчерашнего дня постепенно втягивали их в водоворот событий. И вот они в самом эпицентре воронки, теперь – лишь бы остаться целым. Если его засосало сюда по случаю, то Таис не только хотела этого, но и добивалась сознательно.

– Это же Везувий! – закричал он ей в лицо, подбежав и обняв, чтобы укрыть от града камней, уже летевших в сторону бойцов. – К перилам! – раздались выстрелы.

Толпа, доведшая себя или доведённая кем-то до точки кипения, ринулась на силы правопорядка. Те дрогнули и, ломая правильную линию построения, попятились назад. Саша, вскарабкавшись на какое-то возвышение и обняв Таис, с ужасом смотрел на то, чего он не мог представить себе ещё недавно. Запахло черёмухой, порохом, кровью и смертью. Над головами взвились дубинки, заточки, камни. Отовсюду неслась брань. Из-за спин отступавших бойцов, а может быть, с вертолёта, через динамики вещал бесстрастный голос:

– Уважаемые москвичи и граждане России. Обращаемся к вашему разуму, чувству ответственности за судьбы ваших детей и близких. Призываем, не участвовать в противозаконных действиях, чреватых самыми трагическими последствиями...

Рядом с Сашей, с милиционера стащили униформу, каску, он в белом бронежилете, беспомощно защищая голову руками, пытался вырваться из рук толпы. Но, сшибленный, упал на асфальт. Тот, краснощёкий мужик, закричал в толпу дурным фальцетом:

– Лежачих не бить!!! – и, когда толпа отступила, сам саданул расслабившегося бойца в пах увесистым ботинком.



Почти юродивый стоял на коленях рядом с Таис и, дрожа от возбуждения, читал гекза- метром:

– «Сшиблись; смешались быстро подвижников тяжкие руки.

Стук кулаков раздаётся по челюстям; пот их по телу Льётся ручьями...», – глаза его горели, и Сашу обуял ужас от нелепости всего увиденного им.

Тем временем силы правопорядка, вытесненные четырёхтысячной толпой, рассыпались совсем. Они ещё отстреливались, но уже бежали с поля брани в боковые улочки и переулки, освобождая проспект. Толпа хлынула к Смоленской площади. Дальше Таис и Саша плыли, как по течению, стараясь прибиться к берегу, откуда слышались крики: «Взяли мэрию!»; «Прорвали оцепление!»; «Введено чрезвычайное положение».

В гостиницу их пускать не хотели. И если бы не тётя Саши, наверное, им выбросили бы вещи на улицу. Усталые, встрёпанные, оборванные, – они наконец-то оказались в номере. Прямо перед окнами, на другой стороне набережной, грузовики таранили омовцев, и многотысячная толпа, сминая всё на своём пути, растекалась по набережной и площади вокруг Белого Дома. Со стороны гостиницы «Мир» слышались одиночные выстрелы.

В дверь постучали и, не дожидаясь ответа, жёстко скомандовали:

– Зашторить окна!

Но теперь они и не собирались наблюдать то, участниками чего были совсем недавно. Сейчас, до Саши стало доходить, что всё для него могло кончиться в один миг: работа в Италии; незаконченное дело под Каиром; да и сама Таис, которая сидела перед зеркалом и молча, но с ожесточённостью расчёсывала волосы. Наконец, она встала, подошла к окну, откуда слышались шум и выстрелы.

– Отойди, – жёстко попросил Саша. – Хватит, поиграли в гаврошей, – и неожиданно для себя предложил. – Оставайся. Завтра уедешь. С тётей я договорюсь.

– В этой гостинице не договоришься, – задумчиво произнесла Таис. – Как хорошо отсюда простреливается площадь перед Белым Домом. Здесь, наверное, одни спецназовцы сейчас. Ты вообще понимаешь, что происходит?

– Передел власти. Уйдут одни, придут другие. Или наоборот, – он подошёл к ней, обнял за плечи, попросил ещё раз. – Не подходи к окну. Оттуда – тоже могут стрелять.

– У них нет оружия.

– Этого не может быть. Взяли мэрию. Калининский проспект, центр города. Без оружия они не могли это сделать.

– Они пренебрегают нами, – Таис думала о своём, её «они» отличались от «они» Саши. Хотя постепенно оттаивала, медленно превращаясь из девушки, сошедшей с баррикад, в нежную «спящую Юнону», которая была Саше ближе.

– Останешься?

– Попробую.

Доллары и знакомство помогли решить вопрос с администрацией быстро.

Женщин у Саши, можно сказать, не было. Если не считать случайных связей: в Германии он переспал с прикреплённой к нему, для познания разговорного языка, переводчицей-немкой. Она вся состояла из пирамид, конусов, параллелепипедов; заштрихованных кружочков и сегментов. Сыпала в экстазе артиклями и плюсквамперфектами, пытаясь водрузить ему на нос очки. Ещё числилась итальянка, с которой он познакомился в воскресный уикенд на пляже, увёз в оливковую рощу, где они и занимались «любовью». Но с той поговорить можно было по-человечески, по-итальянски: хоть какая-то польза. Это за границей. В Союзе секса не было.

А чтобы во так, когда переворачивается душа и хочется пасть на колени – этого не испытывал. Что он шептал, обещал и рассказывал тогда – он не поведает никому. Иногда вынимает бережно это воспоминание, сдует с него пылинки времени, посмотрит и прячет обратно.

А Таис, в которую последовательно вдалбливали «классицизм», «романтизм» и другие «измы», до которых очередь ещё не дошла, – в один день из наивной, романтической девушки превратилась в женщину. Устало лежащую на белых простынях с закрытыми глазами; похожую на ту, которую начал увековечивать Брюллов, но так и не закончил.

Под утро их разбудил грохот пушек. Безупречно белое здание напротив вздрагивало от выстрелов по нему прямой наводкой, начинало завлакиваться дымом и на глазах покрываться копотью. Многие в это утро: наивные и равнодушные, обрели здравомыслие и разумение, начав понимать, что есть зло, что добро, а что ни то, ни другое.

\* \* \*

Александр уже долго сидел в римской галерее Титтони. Автопортрет Брюллова, ради которого он приехал сюда, висел перед ним, освещённый частью солнечного света, пробившегося сюда, в небольшой, уютный зал галереи. Молодой Брюллов странным образом возвращал Александра в Россию, причём и сегодняшнюю, и давнишнюю, о которой, будучи пацаном, он так любил читать. В Россию, времён гражданской войны, где всё ясно: там – «белые»; за наших – «красные». Без полутеней и двусмысленности. Уже став взрослым, Александр поймёт всю глубину и неоднозначность трагедии, которая досталась его стране.

Удивительная тайна искусства, когда ты вдруг обнаруживаешь незнакомое, но неожиданно близкое тебе, уже в который раз, благодаря Таис, приоткрылась Александру.

С портрета на него смотрел Брусенцов-Высоцкий из любимого фильма «Служили два товарища». Но такой, о котором – по фильму – можно было лишь догадываться. Ещё молодой, ровесник Саши, с мечтательными глазами, не знающий, что его ждёт разодранная междоусобицами Родина, вынужденное бегство из неё, и последний выстрел в такого же, как он, но «красного». Это сходство молодого Брюллова с молодым, только угадываемым Брусенцовым, было так поразительно, что Александра не интересовали другие картины, висевшие в галерее.

Но уже уходя, Александр остановился. Обернувшись, он увидел: на него, гордо подняв голову, молча, взглядом Жанны д'Арк, облачённой в латы, – смотрит девушка. Даже не подходя к картине, Александр понял, что и этот портрет сделан Брюлловым. И всё это время, что Александр находился здесь, она наблюдала за ним из соседнего зала, заставляя вспоминать октябрь 93-го. Здесь её звали Джульетта Титтони, там, на мосту – Таис.

## 5

Неделя, угробленная на ремонт оборудования, пролетела для Кирилла незаметно. Крупных заначек в семье не держали с тех пор, когда часть накоплений в одночасье слямзил нена сытный Гайдар, другую – тихоня Кириенко своим дефолтом-торнадо. Тогда Кирилл плюнул на всё и стал жить сегодняшним днём, надеясь, что тревожное «завтра», как теперь уже и обещанный коммунизм, в который он когда-то верил, – никогда не наступит. Но пришло утро, да ещё с похмелья, и куча проблем сфокусировались в одну точку.

Кирилл лежал на кровати, не открывая глаз, и притворялся, что делает это только потому, что мешает солнечный луч, упавший на лицо.

Наталя стояла перед ним уже долго, молчала, наконец, не вытерпела:

– Как вы себя чувствуете, сэр?

– Я себя чувствую, но плохо, – отшутился он чужими словами.

– Не стыдно?

«Снова всегда не так, – сложилась корявая фраза в похмельной голове Кирилла. Он с трудом открыл глаза. Наташа стояла перед ним в лёгком ситцевом халате и совестила взглядом. – Значит, лето, – эрудированно заключил он и попытался вытащить из-под себя отлежалую за ночь руку. – Или зима?» – он тревожно засомневался, вспомнив, что тёплый халат Наташа отдала старшей дочери давно, когда та вышла из роддома. Поняв, что Кирилл жив, Наташа молча удалилась на кухню.

«Пиво не надо пить!» – оправдал себя дежурной фразой Кирилл, начиная определяться во времени и пространстве. Он нехотя поднял себя и, растирая появившуюся вдруг руку, побрёл в трусах на лоджию. Там окончательно понял, что в окружавшей его жизни – зима: пусть мартовская, не настоящая, но пока – зима. И холодный кафель заставлял приплясывать, и машины крались за окном по милому для городской администрации, гололёду.

– Она спит? – спросил он Наташу о младшей дочери уже на кухне, подразумевая с некоторых пор под этим вопросом совсем другое: дома ли вообще его младшая ненаглядная дочь?

– Дима там.

– Не понял, – Наташа устало отмахнулась. – Да-а... Так вот приедешь однажды из командировки, а в твоих тапочках и халате Эдуард ходит.

– С моей стороны это тебе не грозит.

– Ладно, – обняв жену за плечи, прошептал Кирилл, – чего мы всё о грустном? Гена не звонил?

– Звонил.

– Во сколько приедет?

– Не приедет. Опять Эдуард в твоих тапочках, – когда жена с утра так шутила – это значило, она не спала ночь. – Он сказал, – тоном исполнительного референта, продолжила Наташа, – что в партии сырьё, которое ты ему отправил, присутствуют полиамиды, поэтому всё можно выбросить на свалку. Мыть, гранулировать – бесполезно.

«А три штуки баксов?» – чуть было не вырвалось у Кирилла, но где-то подсознательно он пощадил жену.

Химическое слово «полиамиды» резко испортило настроение Кирилла. Надо сказать, что науку химию он не любил. Знал только, что Валентность – жена Менделеева. Но судьба распорядилась так, что Наташа была химиком по образованию (её он любил по-настоящему, конечно, не за это); производство, которое его кормило, обувало, одевало (в прямом смысле слова), – тоже относилось к химической отрасли.

– «Поздненько метаться», как сказала бы наша дочка, – подвёл итог утреннему моциону Кирилл и поплёлся к себе в комнату.

Там он улёгся на диван и стал ждать, когда после принятых двух таблеток отпустит подвздошная боль. Лежал, пытаясь вспомнить вчерашние события.

«Сколько же денег я вчера пропил?» – он гнал назойливую мысль, а она возвращалась.

Ещё вчера всё было не плохо.

Встреча с другом юности Борей, скорее всего, стала не случайной. Так близко и надолго они не сходились с незапамятных времён, хотя можно назвать и более точную дату: с 13-го марта 1988 г. – со времени выхода статьи Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами». Виделись, конечно, но с каждым разом их диалоги становились короче и злее. Как теперь выражаются: статья в «Советской России» явилась знаковым событием. Тогда, давно, статью читали на традиционной встрече в банном номере. Сидели голые: русский коммунист с индусским корнем; русский коммунист с еврейским корнем; просто русский коммунист (естественно, с корнем); и ещё трое русских беспартийных – один из которых никогда не вспоминал, что его корень мордовский, других вообще собственные корни, похоже, не интересовали, функционировали и ладно. До статьи, ни у кого в роду репрессированных не наблюдалось.

Боря, с пеной на толстых губах, первый тогда заорал: «Не отступим!!!» Беспартийные молча потянулись в парилку. Просто русский коммунист недавно оттуда вышел, сидел, закутавшись в простыню, потягивал пиво и молчал. Работая в госаппарате, он не имел пока собственного мнения. А Кирилл с Борей сцепились. Кирилл поддерживал Андрееву. Словно кто-то крикнул: «В ата-ку!!!» Почему они вдруг оказались в противоположных окопах?! Теперь-то, через много лет – понятно: учения шли. Но тогда всё казалось по-настоящему.

Конечно, на единственную и монопольную партиюу Бори зуб имелся. То ли потому, что в роду у него рабочей закваски не обнаружили, то ли собственный трудовой путь (школа – ВУЗ – инженер НИИ), как говорится, оставлял желать, но не принимали его в ряды долго. Вступив, Боря по давней своей привычке резко отбежал в сторону и принялся критиковать всё подряд. Эта Борова манера «со стороны» – замечалась за ним давно. Пробегая стометровку за 11,1 секунды (эта «десятая» не давала ему покоя), он в любой заварушке имел свой резерв: бил первым, зная, что, паче чаяния, ноги его вынесут. Правда, подвело однажды незнание чужой местности. Заезжего губошлёпа Борю загнали в тупик одесские граждане с глазами навывкат и крепко побили, несмотря на общую корневую систему. С тех пор Боря к спорту охладел и переключился на политику, здесь, даже в ранге районного депутата, тоже имелась возможность иногда отбежать в сторону: пьёшь вместе, но показал «корочки» и – свободен; а друга в кутузку заметут на трое суток: сутки – за себя, двое за «того парня», депутата Борю.

О чём они тогда спорили? Разве теперь вспомнишь. Вчерашнее и то восстанавливалось с трудом. Через много лет пытались сомкнуть кривую, нарисовать круг, найти согласие.

– Шойгу надо клонировать, – сделал первую уступку Боре, представителю модного общественного движения, крепкий коммунист Кирилл. – Издать, как Пушкина, в различном формате. Для Приморья или там землетрясения – энциклопедический вариант. На случай крупных, но локальных аварий – переплёт твёрдый, формат 70×90, бумага № 1. Для утряски районных конфликтов – кассетный вариант, можно без выходных данных, но, обязательно, гарнитура «Тайме» – для солидности. Для презентаций – набор.

– Хороший он мужик, – то ли от взаимопонимания, наконец, то ли от уважения к Шойгу, повлажнили глаза Бори.

– Я разве спорю, – поддержал Кирилл. – У тебя-то как?

– Тут чуть было не разошёлся.

– В пятьдесят-то пять лет? И чего?

– Сказал: «Забирайте всё: квартиру, гараж, машину...»

– «Запорожец» жив ещё?

– Стоит.

– А они чего? – Кирилл понимал, что Боря с его «заработками» и политическими метаниями, надоел не только жене, но, наверное, и детям.

– Сказали, что бомж им не нужен.

– Помирились, значит?

– Куда деваться-то?

– А мне президента жалко, – сделал вторую уступку, крепкий коммунист Кирилл. – Я его понимаю.

Боря недоверчиво потянулся за бутылкой. Выпили.

– Страна-то какая... – посочувствовал президенту Боря.

– Вот и я думаю. Приехал он тогда из Брунея и сокрушался, наверное: «Почему мне, за ничемную зарплату, такой страной приходится управлять. Народу... проблем... А Брунею и на карте-то всего цифра досталась, а живёт, в ус не дует».

– У президента, конечно, душа болит, – подхватил тему Боря и неожиданно протрезвел. – А вот на местах... Иногда кажется в головах у некоторых руководителей теория вымирания народа и собственной свободы. Летят они над своей территорией, ухмыляются: «Теперь-то это всё моё, меньше народу – меньше затрат и хлопот на выборах».

Кривую они почти сомкнули. Расплачивался весь день Кирилл: во-первых, денег не было жалко, поскольку предвкушалась крупная сделка с Генкой; во-вторых, хотелось показать, что стабильная вера в коммунистов его не подвела; в-третьих, денег у Бори, как всегда не оказалось.

На прощанье Боря полез целоваться.

– Пока ещё рано, – отложил удовольствие окончательного примирения двух бывших коммунистов, Кирилл.

Как ни хотелось Кириллу ещё побаловать себя рассуждениями, но несколько часов безделья даже для сегодняшнего, наполненного новостями утра, были, уже, вроде, лишними. Он принял душ, побрился, уложил феном волосы, и, как результат, подкреплённый элегантно проявившейся сединой, стал вполне солидным человеком.

– Ну ладно тебе, – постарался успокоить он Наташу. – В кои веки... Встретились с Борей, посидели.

– Помирились хоть?

– Бог его знает. Ладно, не делили ничего.

Он выглянул в окно. Подтаивало. «Пойду за машиной, – окончательно решился Кирилл, – на производство надо съездить, посмотреть, что там делается», – он вспомнил ещё несколько дел, которые решались быстрее, если сесть за руль самому. Служебной машины с тех пор, как его «ушли» с солидного завода, у него не было.

– Денег на еду оставь, – напомнила о себе Наташа.

«А есть они у меня? – ещё не знал ответа Кирилл. Пошёл, облазил карманы, нашёл „стольник“, выделил жене. – Значит, прогулял вчера две штуки, – зафиксировал он результат. – Попарились...» – оставалось молча и быстро удалиться.

Старенькая «пятёрка» капризами не страдала, но надо сказать, что и Кирилл её не обижал: любой непонятный ему шумок, устранял в автосервисе. Он любил машину, и она его не подводила, так они и жили: душа в душу. Наташа, машина, да ещё лопата (лёгкая, титановая), без которой он на строящейся даче, как без рук себя чувствовал – эти три существа, были для него незаменимыми и самыми родными. Выехал осторожно, километра не проехал, парень голосует, ну прямо на дорогу выпрыгивает. Кирилл, никогда пассажиров не подбиравший, тут взял и остановился.

– Шеф, до автовокзала подбрось.

– Садись, – открыл дверцу Кирилл. – Не по пути немного.

- Договоримся, – успокоил пассажир. – Кури, – протянул «Marlboro».
- Кирилл отказался, с некоторых пор он перешёл на «Winston». Доехали молча.
- Сколько с меня? – благодарно приготовился расплатиться пассажир.
- Сколько не жалко.

Не пожалел «стольника». «Сколько же таксисты зашибают, если за двадцать минут езды мне столько отвалили? – опешил Кирилл, и попытался произвести некоторые расчёты. Они впечатляли. Пересчитал на месяц, стало грустно – А я тут со своим производством мудочаюсь! Налоги задолбали! Одних платёжек по пятнадцать штук в месяц печатаешь». Он сидел и тупо смотрел на сторублёвую купюру.

Теперь он поехал домой к теще, вернее и к старшей дочери, где Наташа сидела с внучкой. Уже перевалило за полдень, хотелось уюта, элементарных тещиных блинов с капустной или грибной начинкой, и – полежать.

Но Кирилла опять тормознули. Вернее, на очередном светофоре, когда пробка из машин вытянулась метров на пятьдесят, дверцу справа открыл мужик, попросил:

- До пивзавода подбрось.

Пивзавод виднелся чуть левее по курсу, где-то в километре. «Рублей двадцать даст и ладно, – подумал Кирилл. – Всё равно по пути почти».

Через несколько метров, на очередном светофоре, к машине подошли ещё двое.

- О, другань! Подбросим?

Кирилл не возражал, другань сели сзади. Ёжась и прячась друг за друга, от ветра, переходили дорогу люди. Мужик, сидевший справа, с непонятной неприязнью глядел на пешеходов, затем повернулся, взял двумя пальцами конец шарфа Кирилла, потрепал легонько.

- У вас тут каждая сука в шарфе ходит!

Кирилл даже отреагировать не успел: загорелся зелёный свет.

– Поехали, – подсказал сзади один из друганов. Сзади уже сигналили. Кирилл поглядел на клиентов – шарфов на них не было.

Под виадуком, на полпути, сзади спросили:

- У тебя с «пятисотки» сдача есть?

– Откуда? – искренне пожалел Кирилл. – Разменяем.

– Руки видишь? – пассажир справа вытащил из-под куртки руки и показал Кириллу. Костяшки пальцев свежо кровоточили. – Чурок на рынке мочили. Заелись, падлы!

К смуглым торговцам на рынке и у Кирилла отношение не сложилось, хотя не к каждому конкретно, а ко всей массе, что заплонила не только привокзальный рынок, но и традиционно славянские рынки, в его районе, например. Сформулировать причины неприязни не мог, скорее чеченские сполохи пробуждали в нём неясную тревогу.

Тем временем почти подъехали к пивзаводу, он включил левый поворотник, но поступила команда: «Направо!»; – он перестроился и повернул. Покрутились ещё немного, дальше виднелся пустырь, переходящий в берег реки. Она взблёскивала кое-где, взломанным ледоколом, льдом.

- Где вы здесь деньги менять будете? – удивился Кирилл.

– Машину останови, – вновь вынул руки из-под куртки правый пассажир.

Кирилл машинально продолжал ехать.

- Машину останови! – раздался требовательный голос сзади.

Он почувствовал, что в куртку предупреждающе поприжали что-то острое. «Нож! – догадался он. – Порежут куртку!»

– Теперь твои проблемы, где деньги менять, – второй друган, молчавший всю дорогу, отчего-то злился. – Можем взять без сдачи, – в этот момент правый пассажир взял оба конца шарфа Кирилла и перехлестнул их.

- Вопросы есть?

– Нет вопросов, – прохрипел Кирилл. – Нож уберите.

– Колян, чего ты на самом деле!? Человек нам даёт займы, я адрес сейчас свой оставлю, завтра получит всё обратно.

– Дуру хватит гнать! – уже открыл дверку первый друган. – Забирай бабки, пошли.

Кирилл выгреб из заднего кармана двести тридцать заработанных рублей, отдал правому, тот дёрнул за концы шарфа, выдохнул:

– Живи. Держи вот «червонец» на бензин, а то у тебя лампочка мигает.

Они скрылись так же неожиданно, как появились.

«Это ещё полбеды», – попытался пофилософствовать Кирилл, но в сердцах сдёрнул шарф и бросил его на сиденье.

– Ты что-то нараспашку, – встретила его с порога Наташа. – Куда пропал? С участка звонили, там электричество отключили.

«Какая разница! – тяжело промолчал Кирилл. – Господи! Ну почему именно сегодня всё?! – Может, я сплю?» – но ещё не выровнялась на спине вмятина от ножа, теперь и конкретно без денег оказался (полиамиды + противники шарфов + проблемы на производстве). Подбежала внучка, вытянулась в струну, подняла ладошки:

– На юк! – что означало: «На руки!»

Кирилл подхватил её, прижал и тут же подтаял, как мартовский снеговик.

Залитая мягким солнечным светом кухня, опять же акварельный, прозрачный мазок седых волос тёщи, мягкая податливость тела внучки, повзрослевшая улыбка старшей дочери, взгляд жены – что-то понявшей: всё вдруг расслабило Кирилла. Он запрокинул голову вверх, удерживая набежавшие вдруг слёзы.

– Кто это к нам пришёл?! – искренне радуясь Кириллу, засемила с кухни тёща.

– Здравствуйте, мама, – вежливо откликнулся он.

– Кормилец ты наш.

Кирилл горестно вздохнул. Они с Наташей давно уже старались не посвящать пожилого человека в свои финансовые проблемы, которые снежным комом накатывали в зимние – несезонные месяцы, несколько таяли к лету и вновь нарастали к очередному «несезону». Тёща же по привычке думала, что уход Кирилла с должности генерального директора солидного завода ничего не изменил в их жизни и, веря, в крепкий, упрямый его характер, продолжала считать его кормильцем и поильцем. Да так оно и было по большому счёту.

Хотя в доме появилась некая трещина, все делали вид, что ничего не случилось.

Когда его по-прежнему называли «кормилец и поилец», он не возражал (больше имея в виду духовную поддержку смысла), но и понимал, что трещащий по швам дом, держался только на Наташе.

– Она уехала? – спросил он жену.

С некоторых пор, когда главной их проблемой в доме стала младшая дочь, достаточно было сказать «она», и все понимали о ком идёт речь.

– И не собиралась.

– У неё же экзамены.

– Не хочет она учиться. Только деньги на ветер выбросили.

Эта трещина в их доме появилась давно, но шпатлевали, затирали, завешивали на праздники картинами, делали вид. С настырностью пырея через асфальт, проблема младшей дочери пробивалась наружу, иногда с такой силой, что хотелось отказать от дома. Но любовь, но собственная лихая молодость, но её взгляд иногда – испуганный и за себя, и за родителей; но её неоднократные, тайные просмотры фильма «А зори здесь тихие» с рёвом в подушку, – всё это делало Кирилла непривычно мягким и податливым, этой податливостью и заделывали очередную трещину.

Казалось, петля затягивается на его шее. Он понимал, что младшая дочь уже барышня (по-другому думать не хотелось), он признавал её запросы, но не мог теперь их обеспечить.

– Куда ты опять? – обеспокоилась Наташа.

– Покатоюсь немного, – успокоил он, не зная, надолго ли уходит.

День, вроде бы, устал и облачался в серые, невзрачные одежды. Запуржило так, что пришлось включать ближний свет. Из несущейся – почему-то, всегда навстречу – снежной крупы, вдруг медленно выплывали зажжённые фары, и было непонятно: куда и зачем все едут? Кирилл отъехал от дома и совсем затерялся в своём одиночестве. Просто встал на какой-то из остановок и ждал непонятно чего, накрываемый белым, лёгким пока, покрывалом. Было спокойно, тихо и так жаль всех: дочерей, жену, умерших давно родителей, мёрзнувших на остановке людей, даже смуглолицых торговцев с рынка, изгнанных кем-то с собственных земель. Он опять запрокинул голову вверх, а снег прорывался через приоткрытое окно и таял на лице, превращаясь в солёные капли.

«А как же мы без тебя?» – словно послышался немой укор Наташи. Ботичеллевский её образ не раз вставал перед ним и ранее, но он никогда не говорил ей этого, знал, что она не любит «высокий штиль».

Мимо Кирилла ползли и ползли другие машины, раскидывали колёсами накопившийся вдруг снег, вгрызались в пургу, исчезали и появлялись вновь. Кириллу тоже требовалось куда-то двигаться, он, включив первую, вторую, третью передачи, двинулся вперёд...

...Глубоким вечером Кирилл понял, что элементарно устал. К ночи город помолодел. Пожилые и так не баловали его своим вниманием, а тут вообще словно вымерли. Дискотечная и ресторанная публика – нахальная, жизнерадостная (обкуренных, мотавшихся сомнамбулами шлангов, он не сажал) – платила в основном щедро. Позвонил Наташе, услышал озабоченное: «Неймётся тебе». Успокоил: «Так надо». Наташа не перечила.

Сейчас (а уже с час) он сидел в уютном кафе довольно далеко от дома, не торопился туда, хотя при желании мог бы с учётом гаражных процедур, быть в семье часа через полтора. Хотелось пива, но пил кофе: за рулём он алкоголем не баловался. Машина стояла напротив окна: набыченная на его неожиданные фокусы и выпавшие ей испытания.

«Ничего, потерпи, – мысленно успокаивал её Кирилл. – Вот видишь, мы с тобой на ужин в кафе заработали». Та молчала, растапливая на капоте редкие снежинки, словно отпыхивалась после бани.

– Приятно почувствовать в руках!! – у столика Кирилла стоял простой российский гражданин с четырьмя кружками пива: по две в каждой руке. Он вопросительно смотрел на Кирилла, ожидая контакта. Но поскольку тот молчал, продолжил. – Я утром забежал в одном месте пивка попить. Мне дают кружку без ручки. Всё настроение испортили. Пивная кружка без ручки – это... – он задумался на мгновение, с неожиданной горечью выдохнул, – как баба без титьки! – Кирилл понял, что мужику отчего-то так захотелось пива попить в этот поздний час, что он, не дожидаясь официантки, загрузился прямо у стойки. – Имею право, – продолжил мужик, – по окончании дежурства. Тёща пришла теперь, с женой сидеть... Полгода уже мучаюсь... (горестных знаков препинания – не существует), – но, поняв, что у Кирилла свои проблемы, отошёл за другой столик.

Кирилл же, словно кирпичи на даче, перебирал каждый сегодняшний эпизод, складывал любовно в пачку, отходя прищуривался, наполняемый хорошим чувством хозяина. Теперь всё принадлежало ему, и распоряжался, и оценивал приобретённое он несколько иначе – не по рублю за штуку.

А в то время, пока Кирилл благодушествовал, мирил всех и оправдывал, молодые ребята, да ушлые, несколько буковок «П» из его историй повытаскивали, да в тисочки никелированные позажимали; да напильничками шершавыми ножки буковок заточили, а потом пассатижами



крепкими, блестящими, с хрустом, на девяносто градусов каждую ножку у буковок выворотили, полусвастик понаделали, да на машинах бюджетных на калымную работу отправились.

И невдомёк было Кириллу, когда притулил он к рулю головушку, на остановке перекрёстной, желая домой доехать не абы как, а хоть с каким-нибудь попутчиком; что занял он место чужое, лихоманное, ушлыми ребятами прикормленное.

Постучали к нему ребятушки, пораспрашивать, а больше поглумиться решив. Полусвастики уж были под колёса разбросаны. И дали понять, что бригадой они здесь работают, а ему – изгой – делать здесь совершенно нечего.

Не перечил Кирилл, с полуслова понял всё, выжал педаль сцепления, даванул на газ, да и был таков.

Да только на горе большой, гололедистой, на спуске крутом к реке-матушке, потерял он вдруг управление. Понавзрыв аж два колеса лопнули, захромала подруга его – «Ваз двадцать один ноль пять» – развернуло её, скособочило, да на железные перила выбросило.

И зависла она над рекою стылою, в утро мутное, предрассветное. Застонала своими суставами, стараясь с высоты не опрокинуться, – не себя было жаль, а хозяина, что вдруг делом не своим занялся. Попытался к людям пойти, а они не приняли...

Солнца круг вставал... Электронная книжечка – пиликала...

До утра теперь время было, попытайся уснуть хотя бы...

## ***СЛОН № 2***

### ***Выкуп***

Четырнадцать лет прошло, как безверные персы взяли в полон Ратхаму, и над родом его настелили палантин ожидания и скорби. К своим пятидесяти годам жрец Маратха потерял сына и жену, умершую вскоре после того набега персов, обездолившего их род.

По ночам Маратха всё чаще поднимался из нижней части дома во внутренний дворик. Он лежал среди белых колонн и возносился в своих одиноких мыслях к открытым перед ним звёздам и богам, в которых он так верил, но те в своих звёздных мирах не хотели вмешиваться в земную жизнь, где творились свои законы.

Не согревали его и знания, которыми теперь располагал он. Потому что сотни, даже и тысячи прошедших до него лет, только разъединяли народы, и все открытые для него книги, и всё, что он помнил изустно – говорило об этом: зачем больше тысячи лет назад пришли арии на эти земли; зачем не привнесли, а лишь разрушили, что было до них; и откуда тогда его – Маратхи – корни на земле, омываемой Великим морем и великими реками Индом и Гангом, на которой грызлись за власть цари ариев, но и жил «просветлённый» – царевич Гаутама, именуемый теперь Буддой.

Так думал Маратха, так жил он, и даже близкая дружба с царём всё же не спасала от одиночества. Сейчас они сидели вместе и Маратха не понимал, что хочет от него царь Пор.

– Бог Нот не на нашей стороне, – тяжело вздохнул царь, жестом приглашая подойти к окну. – Он опять принёс нам с юга дождь и туман. Глаза оксидраков дальнорорки, но и они не в силах уследить за передвижениями македонцев.

– Они уже плавают по нашему Гидаспу, как хозяева. Их царь Александр даже не скрывает своих намерений, почтенный Пор.

Маратха знал о нескольких неудачных попытках своих земляков отбить натиск македонских воинов, но не вдавался сейчас в детали, чтобы лишний раз не тревожить своего друга царя.

Пор словно не расслышал слов жреца, только усталым жестом попытался остановить его на слове «почтенный».

– Ты мой любимый жрец, не для того я позвал тебя, чтобы говорить так, будто мы не одни.

Пор медленно направился к балкону, с которого в ясную погоду было видно так далеко, что казалось – вся Индия перед твоими глазами.

Они вышли, встали над туманом, тревожной плотью стелившимся понизу.

– Что ты хотел сказать мне, царь?

– Македонский молод, но мудр. Он покорил варваров.

– Но я слышал, что даже отец Александра, Филипп смеётся над его победами, говоря, что эллинов покорить – вот это настоящее дело.

– Филипп покорил эллинов, и они воюют сейчас на стороне Александра. Этот же не только добил персов, но и собрал под свои знамёна все лучшие умы преклонившихся ему народов, – Пор положил руку на плечо Маратхи, виновато поглядел на него. – Прости меня.

– За что? – удивился жрец.

– Я получил предложение от Александра, и скоро он пришлёт своего посланника за ответом.

– Что желает царь Македонии от царя Пора?

– Он хочет, чтобы я отдал ему самого мудрого из моих жрецов, – Пор на мгновение замолчал, но тут же, будто испугавшись, что жрец поймёт его мысли раньше, чем он скажет, продолжил. – Тогда он уведёт своё войско, и мы сохраним царство.

Неслышно, словно из тумана, на балконе появился слуга.

– Что тебе? – недовольно спросил Пор.

– Архелай, от Александра.

В сопровождении свиты на балкон уже входил надменный посланец македонцев.

– Радуйся, – буднично поприветствовал царя Архелай. – Я пришёл за ответом. Александр не может больше ждать, – его глаза уже пристально смотрели на Маратху, словно решение было известно обоим.

– Когда? – опустошённо произнёс жрец.

– Завтра утром, – ответил ему царь Пор. – Прости.

– «Сладостней нет ничего нам отчизны и сродников наших...» – Архелай рассмеялся. – «Одиссея» – песнь девятая, стих тридцать четвёртый.

– Я вместо раба стал свободным?! – вскинул взгляд жрец и больше не опускал его.

Он уже знал, что ни он, ни его потомки больше никогда не будут жить на этой земле, видеть именно эти звёзды, вдыхать именно эти запахи тумана и слагать свои легенды на родном языке.

## 6

Промышленная зона под Каиром с каждым годом отвоёвывала у бесстрастных, неостывающих песков пустыни всё большие площади. С каждым разом, приезжая сюда, Александр удивлялся настойчивости арабов, которые, подобно муравьям, сооружали всё новые промышленные анклавы там, где, казалось, не должно прижиться ничто.

«Вот так упорно и методично они воздвигали свои пирамиды», – думал Александр, подъезжая к промзоне.

Весь периметр, выделенной под строительство завода территории, уже был огорожен бетонным забором, подтянуты дороги, выставлена охрана, и рядом, со стороны основной магистрали, удивительным образом зацепившись за песок, пытались изобразить жизнь какие-то кустарники. Правительство Египта не только поощряло развитие промышленных объектов на своей территории, но субсидировало проекты, предоставляя беспроцентные кредиты, и за свой счёт обеспечивало инфраструктуру. И правь здесь фараоны или парламент, президент или сенаторы, – заинтересованность государства, как единого организма, в развитии промышленности и предлагавшего массу льгот и поблажек, включая дешёвую рабочую силу, – привлекали бизнесменов из многих стран мира. Здесь уже пустили корни японцы с филиалом «Судзуки», немцы с фармацевтическим заводом, французы, англичане, теперь- и господин Марчелло решил пощупать необъятный африканский рынок. Дела шли настолько последовательно, по графику, что не оставалось сомнений – завод будет пущен. Уже стояли корпуса двух цехов: по производству пластиковых труб и тары; на глазах росла коробка административного здания; начинался монтаж внутренних коммуникаций. В принципе, для Александра эта поездка была инспекторской. Хотя в последнее время господин Марчелло всё больше доверял ему каирские вопросы, выходящие за рамки его обязанностей.

На объекте его встречал Шакер Саллам: по-восточному улыбочивый, в белой рубашке, при галстук и безупречно отутюженных брюках кремового цвета. В его визитке значилось: «Dipl.Ing.», что означало – «дипломированный инженер». Он представлял немецкую строительную фирму, был египетским гражданином по происхождению, а жил в Германии, в Эльмсхорне, в полста километрах от Гамбурга. Но уже несколько лет вёл объект здесь, под Каиром. Шакер был ровесником Александра, может, чуть старше, и встретились они запросто, как старые знакомые.

– Би-ир? – сразу спросил он, понимая, как Александру нелегко под полуденным, летним солнцем Египта.

– Си, – ответил Александр, а поскольку Шакер, как многие египтяне неплохо знал русский, перешёл на родной язык. – Дома давно не был, Шакер?

– Месяц, как вернулся.

– Как там Эльмсхорн?

На дежурные русские вопросы Шакер отвечал обстоятельно. Под конец улыбнулся и заговорщицки похлопал Александра по плечу.

– Мадам Эльза передаёт привет господину Александру. Жалеет, что ты давно не был у нас на фирме.

– Ну, ты господин Шакер, даешь! Сколько раз я её видел?

– Три, – для убедительности Шакер показал ещё и на пальцах. Рассмеялся. – Растёт киндерсюрпляс, – добавил по-немецки, – das Doppel.

– Киндерсюрприз, – машинально поправил его Александр, но тут же встрепенулся. – Какой дубликат?!

– Man kann ich sage zum Scherz.

– Тоже мне: «В шутку он говорит». В «немецком» решил меня потренировать? Der Meerretich ist ihr.

– Не понимаю, зачем передавать ей этот овощ, хрен. Передам лучше привет.

– Хорошо, – согласился Александр, и оба рассмеялись. – Ты лучше скажи, где рабочие? От жары попрятались?

– Полдень скоро, – поднял глаза в небо Шакер. – Скоро саят. Они за первым корпусом. Хочешь посмотреть?

– Да.

– Посмотри из моего кабинета, не мешай им.

– Не первый раз, – Александр не стал спрашивать Шакера, будет ли и он исполнять молитвенный обряд, а оставил его, поднялся во временное обиталище Шакера, которое выглядело вполне основательно: некий панельный параллелепипед с ажурным крыльцом, немецкими стеклопакетами и кондиционерами внутри.

Уже будучи больше европейцем, скорее всего, Шакер не всегда соблюдал предписанные традиции, и часто только мысленно повторял молитвенные позы и движения, составляющие основу саята – мусульманской канонической молитвы. Но рабочие, среди которых, кроме египтян, было много суданцев, эфиопов, выполнявших вспомогательные работы, и отличавшихся особенно тёмной кожей, – к предписанным пяти ежедневным саятам относились благочестиво, чему Александр был свидетелем. Сейчас, за несколько минут до начала саята, они совершали обязательное ритуальное омовение, поливая из пластиковых бутылок на руки, лицо и полоща горло, произнося при этом что-то гортанно-формулическое. Некоторые, особо чернокожие рабочие, может быть, уроженцы Нубийской пустыни или коренные жители Эритреи, делали омовение раскалённым белым песком Ливийской пустыни, которая стала для них временным домом и дала надежду на заработок. Александр знал, что такое «омовение» называется таяммум, и наблюдал, как естественно и просто проделывали это чернокожие люди.

Он открыл окно, чтобы слышать что-то из произносимых во время ракатов слов. Исполняя их, каждый из молящихся как бы склонялся перед Аллахом. Стоя на коленях, простираясь перед ним, касаясь лбом земли. Кроме того, каждый в упоении произносил: «Ла Илаха Илля-Ллах», – почти математическую формулу, выражающую один из главных догматов ислама: «Нет никакого божества, кроме Аллаха». Здесь не было имама, который руководил бы молитвой, но, закончив первый ракат, все знали, что всего их в полдень должно быть четыре, и каждый ракат обязан начинаться фатихой – «открывающей» Коран, сурой.

Что-то Александру поведал и объяснил Шакер, что-то он пожелал узнать сам, но отдельные аяты из главной суры Корана он мог даже сказать по-арабски, поэтому понимал, что произносят сейчас гортанными фразами мусульмане.

*«... Тебе мы поклоняемся и просим помочь!  
Веди нас по дороге прямой,  
По дороге тех, которых ты благодетельствовал, —  
Не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших...»*

Математическая чёткость, выстроенность обряда, его внешняя простота: без позолоты; драгоценных камней, которые сверкали бы повсюду; помпезности, – воспринималась Александром с пониманием.

Сам он был православный, крещёный, но поскольку обряд крещения проходил полутайно, чтобы не навредить отцу, соответственно и особых потребностей в истовой вере Александр не испытывал. Иногда его даже посещала крамольная мысль: нет церкви, нет и молитвы. Так же трудно было представить раньше КПСС без Кремлёвского Дворца съездов. А теперь

кажется: не будь Колонного зала Дома Союзов, и хоронили бы многочисленных вождей с их окружением по-человечески, не долбя раз за разом кремлёвские стены.

Перед отъездом в Италию, будто предчувствуя, что это надолго, Саша отправился в деревню, к бабушке, которую чуть ли не силой хотели перевезти в город, но она так и не согласилась. Здесь, в упрямой от трасс и дорог деревне, он прожил летние детство и юность, здесь были корни его мамы; но порыбачить, посидеть вечером на церковной горе, любуясь заречными просторами, приезжал и отец. Церковь давно рушилась, приход ликвидировали. Служб Саше услышать не привелось. И если во времена давние родина мамы называлась «село», то без церкви оно превратилось в «деревню». Пастыри духовные ушли, и заботились теперь о душах детей, внуков, правнуков – своих и чужих, как, впрочем, и в других деревнях России: лёсыньки, мотеньки, морозихи, да окуленьки. Сколько этих старух с полузабытыми именами – не счесть.

Бабушку звали Александра, а в деревне Лёсынька. Ничего религиозного она Саше не навязывала, разве исподволь скажет, когда он, обиженный кем-нибудь из коренных деревенских сверстников, схватится мстительно за прут или пущу того – за палку.

– Господи, помилуй ненавидящия и обидящия мя...

А однажды, когда пололи морковь, согнувшись в три погибели, услышав из-за плетня соседкино: «Бог в помощь», – Саша – пионер до мозга костей – обозленный не ко времени навязанной трудовой повинностью, буркнул в сердцах:

– Бога нет.

Бабушка не стала с ним спорить, сказала только:

– Не говори того, чего не знаешь. Можешь верить или нет, но не делай никому зла, и это будет по-божески. Пойдём в дом, передохнём, – и они сидели в светлом доме, где всегда, сколько он себя помнит, висели три небольшие иконы.

Пили молоко, а бабушка между делом рассказывала.

– Он, Кулёк-от, верёвки-то на кресты накидывал. Потом уж лошадью дёрнули, порушили всё. Лошадь жалко, умная была. Как раз под Пасху поехал он верхом в район, да в галоп её – пьяный был. Она всю жизнь в телеге. А дороги по весне у нас сам знашь какие – склизкие. В Марьином враге и сверзнулись. Лошадь ногу сломала, пристрелили её потом. А Кулёк в спине что-то нарушил. Парализовало. С тех пор лежал, почитай три пятилетки. Еле умер.

Когда Саша уезжал в Италию, она подарила ему Молитвослов, который открывался простым: «Начатки христианского учения, которые необходимо знать каждому православному христианину». Перекрестила:

– Чужеверная там страна. «Опять возвратится благоволи... Благословен ты, Господи! Научи его уставам твоим».

Живой он бабушку Сашу не увидел больше. Имя её носил, Молитвослов начал читать из любознательности, стал заглядывать и в Библию, которую подарили ему вездесущие мормоны – всучили, можно сказать, в Англии, кажется. Но любопытство или доставшаяся от отца пронырливость, с годами заставили читать серьёзно. И уже постепенно заработала не только разумная часть души, но и та, которую физически объяснить было трудно.

После четырёх ракатов полуденный салат закончился. Кто-то поднялся с колен, кто-то ещё обращался к Аллаху с молитвами-просьбами или читал любимые подборки-талисманы из нескольких сур, удобно стоя на коленях в податливом, тёплом песке. Вернулся Шакер, и они сели пить кофе. Александр захлопнул окно, потому что осязаемая, как огромный кусок ваты, жара, заполнила пространство помещения. Он включил на полную мощность кондиционер.

– Единственное, что меня беспокоит, Шакер – это компьютеры и холодильные установки оборудования. Как они в такую жару будут работать?

– На «Судзуки» работают.

– Шакер, давно хотел спросить. Вот этот аят из первой суры Корана: «...не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших...» Что-то здесь меня напрягает. Я понимаю, что «гнев» не самое достойное из желаний и страстей человеческих, но отказывать человеку в возможности идти одной дорогой только потому, что он в гневе?!

Шакер слушал напряжённо. Такой поток русского языка затруднял его. Но если он, как любой иностранец, пожелавший понять суть стоящих рядом русских слов – педантично и вслушивался в каждое слово, то для Александра родной язык был как воздух – им живёшь и уже не замечаешь. Шакер достал из шкафа словарь, долго листал и вчитывался.

– Не «в гневе», а «под гневом», – наконец поправил он Александра. – Смотри: «под» – предлог, указывает на состояние, в которое поставили человека или в котором он находится. Или ещё значение: «Вследствие чего-нибудь. Например: под влиянием гнева».

– Что в лоб, что по лбу. Там «предлог», тут «предлог». Повод, чтобы отказать человеку в близости, в помощи Всевышнего.

Шакер совсем запутался, но попытался высказать своё.

– Здесь имеется в виду то, что человек довёл себя, своё желание до состояния гнева. И тогда он должен идти другой дорогой. Может быть, на время. Вот Платон говорит своему рабу: «Не будь я в гневе, право, я бы тебя выпорол», – и отходит в сторону.

– Нет, Шакер. Здесь другое. Скорее всего, имеются в виду те, кто под гневом Аллаха. Оставим вопрос: за что он возгневался? Но с первой же суры, заметь – «открывающей», на общую дорогу этих людей не пускают. Блокпосты уже установлены в самом начале пути и донесения или доносы, в штаб поступают.

Взгляд Шакера оставался внимательным. Если бы он был ханбалитом, которые отвергают даже возможность буквального или аллегорического толкования Корана, глаза его давно бы зажглись ненавистью. Но он: сын отца, строившего вместе с русскими Асуанскую плотину; получивший образование в Германии; изучавший древних греков, потому что они когда-то правили Египтом, – пытался из любой дискуссии вынести разумное, умножить знание, пределов которому нет. И ему казалось, что они с Александром родственные души.

– А как у вас? – спросил он Александра.

– Ты пойми, я не о вере сейчас говорю, поскольку не святой Апостол и не духовный пастырь. Не проповедую, а просто пытаюсь вникнуть, сравнить. У нас как? Да тоже не просто. Ветхий Завет, Новый Завет, тысячи страниц текста, варианты... У вас Коран и сто сорок сур. Я сейчас о другом. По православию: «Ибо Ты Бог кающихся», – то есть каждый молящийся просит прощения, говорит о себе, а не делит людей на «наших» и «не наших». Платон понимает, что в гневе судить нельзя. В Псалтири тоже: «Господи! Не в ярости твоей обличай меня, и не во гневе Твоём наказывай меня». А у вас, как Павлики Морозовы.

– Кто это, Павлик?

– Тебе не понять. Мы сами-то до конца не разобрались. Будем считать – миф. И потом: вражда, ссора, зависть, гнев – в Писании определены, как «скверны и нечистоты духа»

– Ты хочешь обратить меня в свою веру?

– Ну, что ты. Мне самому до неё, как до Солнца. Объясни мне Шакер, что за люди сидят на рынке – в Каире видел – и натирают пемзой лоб? Зачем?

Шакер заелозил в кресле: – Каир огромный город. Тринадцать миллионов человек. Трудно всем найти работу. Многие торгуют. Им некогда выполнять все, предписанные Кораном обряды. Но ты же знаешь, что в основе раката и земные поклоны. И чем истовее человек молится, тем сильнее след от поклонов на его лбу.

– Мозоль, значит, натирают?

– Но у вас тоже... как это сказать?

– Лоб расшибают?

– Да. Отец говорил, что когда русские строили плотину, не было столько верующих. Как может страна за десять-пятнадцать лет перестройки поголовно поверить в Бога?

Шакер был прав.

Александр допил кофе, встал, подошёл к окну.

– Ну и пекло у вас. Как здесь работать? А, похоже, придётся. Шеф меня упорно сюда пихает. Ехал в Италию, попаду в Египет. Интернационал. Давай документацию смотреть. Смежники не подводят?

– Кто такие смежники?

– Это, Шакер, даже объяснить невозможно, если брать по русским меркам. Вот наша фирма – смежник одного предприятия в России. Мы им на все уступки готовы, а там – дурдом. Приватизация.

Александр стал вспоминать, как он впервые попал на завод к Кириллу Николаевичу.

\* \* \*

Когда пришло сообщение по E-mail, что умерла бабушка, Саша сделал распечатку и положил перед господином Марчелло. Тот перекрестился, спросил:

– Твой дом – это далеко от завода, которым руководил господин Полухин, а теперь господин Кирилл?

– Это другая область, но рядом, километров двести, на границе с нашей.

– Для вашей страны двести километров – это не территория. Какой вы богатый народ! Езжай. Посетишь и завод, посмотришь их возможности по модернизации нашего оборудования.

Родителей Саша не видел почти десять месяцев, с октября 93-го. Да и тогда родители еле успели в Москву, в Домодедово.

– Ты давно в Москве? – спросил отец, когда они уже стояли на регистрации.

– Со вчерашнего дня.

– И не позвонил, охломон, – охнула мать.

– Да... тут... запутался. Такое творится...

– А это кто? – спросил отец, придирчиво оглядывая Таис, которая стояла чуть поодаль.

– Таис.

– Афинская?

– Почти.

– Как это у вас называется: ты её бойфренд?

– Папа, не будем, – прервал Саша ещё не начавшуюся тему.

И вот опять Россия. Самая, что ни на есть настоящая. Бабушку хоронили в деревне, без музыки, тихо – так пожелала. Стоял июнь. Ещё не обросла излишней травой земля. Деревья тянулись вверх, будто только народившиеся после короткой, прихваченной зимой, весны. Но река под церковной горой уже очистилась от весенних паводков и прозрачно стекленела под голубым высоким небом. Кладбище, рядом с бывшей церковью, не было даже огорожено. И места хватало для всех. Кто хотел здесь жить и умереть, уже сделал это. Собралось на похороны человек сорок, да и то, как говорила бабушка: «Почитай половина – летошние», – то есть приезжие родственники тех немногих, кто здесь остался.

Мать тихо рассказывала Саше, а может быть, себе:

– Мотенька позвонила, сказала, что плохо маме совсем. У меня на руках умирала. В последний день всё говорила: «Кажется мне дверь за головой, мама там моя. Зовёт», – а рукой всё по стене гладила.

Плакал Саша потом, не на кладбище. А когда помянул бабушку, вышел на огород, сел на лавочку, с которой видно было далеко-далеко, почти до самого Майдана, откуда она всегда ждала их красную машину. Радовалась потом: «Я вас сразу заприметила, как только с Майдана на дорогу выехали».

Саша снимал очки, надевал их, но Майдана не видел. Мешали слёзы.

Только разворачивалось лето, а в посёлке Чёрная Рамень, где базировался завод Кирилла Николаевича, уже горели торфяники. Из соседней области – откуда Саша добирался до завода – хорошей, с ветерком езды, было часа два. Но он ехал почти полдня. Если раньше автобус к соседям, в областной центр, ходил транзитом, то теперь разбитый ПАЗик доползал до границы областей, а оттуда, через три часа, шёл другой, но такой же расхристанный и грязный автобус.

У Кирилла Николаевича Сашу ждали. В едком торфяном дыму, в котором увяз посёлок, с трудом, но угадывались, благодаря ядовито-жёлтой окраске, двухэтажные, без архитектуры, дома. Длинные чёрные бараки, вросшие в землю, нехотя выпускали наружу, через перекошенные, сорванные с петель двери, своих обитателей, тянувшихся к заводу, потому что работать здесь было по существу негде.

Саша попал в пересменок. Перед ним стояло серое, бетонное здание основного корпуса, ни на что не похожее, только на самое себя: прямоугольное, мрачное, по цвету слившееся с дымом. Из него, будто выколупывали по одному, реже по два-три, закончивших смену рабочих. Словно сомнамбулы, они шли мимо Саши к автобусу и всё вместе: дым, корпус, люди, – изображали болезненный процесс, который обязательно должен сопровождаться жаром, опухлостью больного тела и полной обречённостью. Казалось, также безрадостно, навстречу этому потоку выходил из служебного автобуса другой: медленно идущий навстречу, но одинаково обречённый и молчаливый. Лишь изредка Саша слышал короткие вопросы и такие же ответы.

– Сколько на «немце»?

– Девятьсот.

– Слабовато что-то. Переплюну. А на «итальянце»?

– Тысячу. Опять одну «вторичку» дали. Задолбали уже.

– Так сырьё и не привезли?

– Завтра обещали.

Рядом с Сашей стоял директор, здоровался с каждым рабочим за руку. И как-будто чувствовал себя виновато. На вид директору было около сорока, но Саша знал, что он ровесник его отца, значит – сорок шесть. «Ничего, здесь быстро свой возраст наберёт», – подумал Саша и по-человечески пожалел Кирилла Николаевича.

– Вроде бы, не июль, – удивился Саша, – а у вас горит кругом.

– Здесь иногда с мая пожары начинаются. Заброшенные торфоразработки горят, неделю уже. Раньше государство тушило, а теперь само вот-вот полыхнёт. Не до нас.

– Вы местный?

– Нет. С областного центра. С октября девяносто третьего – директорствую. Как раз с московских событий.

– Не пришлось тогда в Москве побывать?

– Нет. Там другая страна. Им до нас нет дела, а нам – до них. А у вас как, в Италии?

– Долго рассказывать, – Саша и вправду не знал, что говорить. – Может быть, завод посмотрим?

– Конечно, – и директор повёл его в цех.

Саша шёл вслед за Кириллом Николаевичем, глядел ему в спину и резкими мазками набрасывал портрет директора: «Неудачник. С трудом десять классов или даже восемь. От силы техникум – вечерний. Что-нибудь по инструментальному делу. Работал мастером или в ПТУ уроки слесарного дела вёл. Летом – огород, зимой – рыбалка, чтобы от жены слить, – Саша стал жалеть времени, потраченного на поездку. – Лучше бы с родителями побыл!»



– Кирилл Николаевич, а Вы как сюда попали, на этот завод? – хотел сказать: «В эту дыру», – но сдержался, хотя иронии скрыть не сумел.

– «Стреляли», – загадочно улыбнулся директор. – Фильмы-то наши, русские, не забыли ещё? – он повернулся вполоборота, держа руки в карманах.

«А мы, оказывается, с юмором!» – съёрничал мысленно Саша. Директор хотя и не походил на деревенского тракториста, – брюки в сапоги заправлены, – но желваки на скулах поигрывали.

– Можете, Кирилл Николаевич, на «ты» меня называть, я Вам в сыновья гожусь.

– Да уж избавьте. Вы с «италиев» приехали, а мы – вот тут.

– Я из деревни только что, бабушку хоронил, – Саша снял очки, кепку-бейсболку, расстегнул ворот рубашки.

– Извини, – буркнул директор. – Бардак тут пока у нас. В долгах, как в шелках. Пока приватизировались, только и делали, что митинговали, да на собраниях заседали. Половину завода растащили. Теперь обратно собираем, на ноги потихоньку встаём. А станки ваши хорошие. Производительные. До компьютеров нам, правда, далекоещё. Сам иногда думаю: «Зачем сюда пришёл?» Полгода «назначенным» работал. К людям привыкал, они – ко мне. Потом выборы: почти единогласно. Теперь с утра до ночи здесь. Дома всё забросил, – он остановился, словно задумался: идти ли в цех, но махнул рукой. – Ладно, пошли! Не я же до такого состояния завод довёл.

В цеху Саше сразу стало тоскливо. Виденные им в красочных буклетах аналогичные производства: с кафельными полами; стеклянными потолками, через которые лился естественный свет; персоналом в белых халатах, стоящими у чистеньких станков, откуда выходила разноцветная продукция; обязательными мониторами компьютеров, обслуживающих техпроцесс, – всё было совершенно из другого мира. Как изумрудное море Сорренто. Здесь, ярко-белый свет ртутных ламп под потолком с трудом пробивался через серо-сизый дым, заполнивший цех. Штабеля чёрных длинных труб проглядывали сквозь дым пустыми глазницами разных диаметров. На полу тяжело лежали лужи тёмного грязного масла, лишь кое-где присыпанные, набрякшими маслом же, опилками. Станки, выкрашенные скучной шаровой краской, монотонно шлёпали пресс-формами и сплёвывали в металлические поддоны унылые чёрные изделия. По пояс раздетые рабочие с грязными потёками на вспотевших спинах, сидели у станков: одни срезали облой с изделий; другие, развернув обрывки газет, углубились в чтение чёрных по белому строк. Дикий рёв дизельного погрузчика, плевавшего из выхлопной трубы синим дымом, заглушал общий монотонный шум технологического процесса. Кто-то молча тащил длинный трос; кто-то нёс стопу ящиков, и, казалось, она сама идёт на кривых ногах с закатанными до колен брючинами; женщина в розовом лифчике пыталась натянуть на себя кофтёнку раньше, чем к ней подойдут.

«Стриптиз», – ужаснулся Саша, имея в виду всё вместе взятое. Но всё странным образом работало. Начальник смены – молодой мужик с широкой улыбкой и шикарными усами, отвёл директора в сторону и стал спокойно о чём-то докладывать. Кирилл Николаевич записывал, потом подошёл к баку с сырьём, стоявшему рядом со станком, взял горсть, долго рассматривал, стал пробовать на зуб, выплюнул зло и опять что-то записал в блокнот. Потом включил рацию, висевшую на поясе, и стал резко кому-то выговаривать. Саша слышал только обрывки фраз.

– Ещё раз подсунете непроверенное лабораторией сырьё... а я говорю, что перемешали полистирольную группу с полиэтиленом... на участок надо почаще спускаться, да! Не в кабине сидеть! – он выключил рацию, добавил с досадой. – Аборигены хреновы! – подошёл к Саше. – Ну, посмотрели? Короче: у меня перечень составлен по запчастям на ваше оборудование, готов проект договора. Кроме того, есть чертежи на пресс-форму. Можем делать здесь, в России, но у вас сейчас надёжнее. Ваши пресс-формы работают уже десять лет, и у нас к ним нет претензий. Весь объём заказа примерно на тридцать пять тысяч долларов. Валютный

счёт у нас есть. Растаможка – наши проблемы. О компьютерах давайте через год поговорим. Думаю, что наши условия вашему программному обеспечению, не по плечу.

– Почему же? – обрадовался Саша возможности высказать, наконец, своё мнение.

– Потому что ваши программы и режимы рассчитаны на нормальное сырьё – ГОСТированное, а мы, как видите, на «вторичке» работаем. Параметры совершенно непредсказуемые: по текучести, температуре расплава, влажности, – и массе других показателей.

– Как же вы работаете!? – искренне удивился Саша.

– Как живём, так и работаем.

«А он не так уж и прост, как мне в начале показалось», – Саша даже обрадовался, что эскиз портрета на директора, оказался не совсем верным. Они уже поднялись в кабинет, где их дожидались трое молодых людей.

– Знакомьтесь, – представил их Кирилл Николаевич. – Соучредители, члены Совета директоров. Гриша, Юлек, Лёша. Вы почти ровесники, сами разберётесь, как друг к другу обращаться. Я в бухгалтерию, а вы тут побеседуйте. Я Александру вкратце изложил суть наших намерений. Проекты договоров на столе.

– Давай пощуримся, – сказал Юлек. Он придвинул бумаги к себе, поднял голову на Сашу. – Ты итальянец?

– Не напрягайтесь, ребята. Я – русский.

– По паспорту мы все русские, – Юлек протянул руку. Рукопожатие получилось вкрадчивым. – Давно в Италии?

– Скоро три года.

– Не торопишься возвращаться?

– Пока нет.

– Правильно. Надо тоже плацдарм создавать где-нибудь в Адриатике. В Порто-Гарибальди, например: с одной стороны море, с другой – голубое озеро Валли-ди-Комакьо! Бывал?

– Нет.

– Дача в четырёх уровнях, площадка для гольфа, сад – апельсины, марабу, оливки! Лёха, любишь оливки?

– Терпеть не могу.

– Да, это не сало. Ладно, пока нет директора – сугубо между нами. Он у нас из коммунистов, для него рабочий класс, как для Лёхи хохлы, а для нас с Гришей – евреи. Родня, в общем. Он, если его не осаживать, и в вентиляцию деньги вбухает, и зарплату рабочим увеличит, путёвки детям в пионерлагерь оплатит. В прошлом году учудил. Взял и со счёта старого своего предприятия одной девчонке учёбу оплатил, в Академии художеств. Прикинь! А в этом году опять оплатил, уже со счёта нашего предприятия.

– Ну, ты, Юлек, не прав, – возразил ему Лёха. – Их всего два человека со всей нашей области поступили. Талантливая девчонка. Вон её картина висит, акварель. Каждый раз приезжаю, и всё время она будто заново написана. Как на душе у меня, или какая погода за окном, такое и у пейзажа настроение. И девушка на берегу: то исчезает, то появляется.

У Саши что-то внутри защемило. Он медленно поднялся, подошёл к небольшой акварели, висевшей на боковой от него стене, прямо против окна. И на его глазах, словно на белой бумаге, опущенной в проявитель, на берегу реки, из тумана стала появляться девушка с длинными распущенными волосами и обнажённой фигурой. В углу акварели неяркая подпись: Таис. Он стоял долго, молчал и не мог отойти.

– Вот видишь, Юлек, человеку тоже понравилось. Мы ещё её картины им в Италию продавать будем. Все деньги и вернём, – Лёха за спиной Саши рассмеялся.

– Продайте мне, – повернулся Саша.

– А я тут, чем любоваться буду на Совете директоров? – растерялся Лёха, видимо, не ожидавший такого поворота. – Да и Кирилл Николаевич, как никак, здесь хозяин. Его спрашивай.

– В чём вопрос? – в кабинет вошёл директор.

– Это Таис? – спросил Саша.

– Ну, да. Она так подписывается. Дочь моих знакомых. Опять про учёбу, что ли речь зашла? Верну я вам эти деньги.

Юлек буркнул:

– Вот, Савва Морозов. Господин итальянец хочет купить акварель. Рафаэли и боттичелли всякие в Италии нынче не в моде.

Наконец подал голос из угла Гриша:

– Двести баксов.

Саша полез в бумажник.

– Шутка.

– Она не продаётся, – резко остановил Сашу директор. – Это подарок. Если автор разрешит, то – пожалуйста. Могу дать телефон. Но она сейчас в Питере. У неё сессия.

Видимо у Саши на лице что-то отразилось, потому что директор внимательно поглядел ему в глаза. Но что Саша мог объяснить чужим для него людям? Около часа сидели, правили договора. Накидывали «ключей», каждый для своей стороны, чтобы в случае чего дверь открывалась в пользу собственной фирмы. Юлек чего-то темнил, но когда директор в очередной раз вышел из кабинета, он напрямую предложил.

– Перечисляем в два раза больше. Открываем наши личные счета в итальянском банке. От разницы в сумме – восемьдесят процентов ваша фирма скидывает нам. Пять процентов – твои, Саша. Кирилла в курс не вводим, не поймёт. Проплата пойдёт с «Регионспецстроя», а не с завода. Согласен?

Саша понял, что завод куплен, чтобы скачивать прибыль. Ни о каком развитии речи быть не может. «А несчастные триста баксов за учёбу для Таис – пожалели!» – с обидой, будто это касалось его лично, подумал он.

– Мне надо посоветоваться с шефом. Но при любом раскладе, запчасти и пресс-форма вам нужны?

Юлек пожал плечами: – По мне, так ещё поработают, а там – видно будет. Широко шагать – штаны порвёшь. Решайте в своей Италии. Звоните. Домой когда?

– Сегодня ночью поездом в Москву, завтра самолётом – туда.

– А здесь заночевать? В баньку ночную ходим. Пиво, девочки, бассейн. В преферанс играешь?

– Спасибо. Дела.

Вскоре они на двух служебных «Волгах» мчались в город, где, будь это месяцем позже, Саша мог встретиться с Таис. Не довелось.

## 7

Несколько месяцев Кирилл навёрстывал то, что было упущено за зиму. Работал, как проклятый. Как раб, прикованный к галере. Накопившиеся долги уменьшались медленно. Копеечные изделия методично падали со станка в поддон, но ещё методичнее и настойчивее поднимались расходы на жизнь: словно их кто-то поддавливал мощными гидравлическими домкратами, противодействия которым, не существовало. Но он не сдавался. Соревновался сам с собой, каждый час скрупулёзно записывая выработку со станка. Оправдывал себя, утешал, перед собой же, но уже вечерним, видя, что производительность выросла: «На разогретом станке и импотент сможет». Июнь близился к концу, и лист с убористо вписанными числами, напоминал об удачах, провалах, взлётах и падениях. Выловленные сознательно, или случайно, секунды, иногда десятые их доли, уменьшавшие цикл, складывались, накапливались в течение смены, к концу месяца превращаясь в сэкономленную электроэнергию, дополнительные изделия, – задел, которого для спокойной жизни всегда не хватало. Иногда Кирилл ловил себя на мысли, что лучше: отлаженный, монотонный бесконечный механизм процесса, когда можно тупо сидеть, наблюдать и слушать до тошноты знакомые однообразные звуки, в которых только при большой фантазии определишь различие темпа, ритмического рисунка, уровня громкости; или, когда заданный темп вдруг нарушается залипшей на пресс-форме деталью, заставившей тебя вскочить и, в отведённые две секунды паузы между циклами, сбросить её с обманчиво застывшей пресс-формы, но уже готовой соединить свои разомкнутые челюсти и поймать многотонным усилием живую плоть пальцев, а если удастся, то и всю кисть; или вмиг тревожно замигающая красная лампа, свет которой сопровождает крещендо в партии больших и малых насосов – они своими фортиссимо и форте возопили вдруг о динамических неполадках, после которых всегда выброс массы, нарушение размеренного, устоявшегося уклада, но и напоминание о бдительности и хоть какое-то разнообразие. И всё это – час, день, месяц. Кирилл выходит уже в ночь, набрав полные корзины усталости, тащит их; выплёскивает в себя, как на каменку, одну-две бутылки пива; приходит в тревожный от фокусов младшей дочери дом, смотрит в диаметр её зрачков; и падает навзничь в приготовленную женой постель. Из семьи слонов, пришедших по наследству из детства, и обещавших когда-то счастье, два уже ушли. Это Кирилл отпустил их, а сейчас он пригласит в путешествие следующего. Без него не уснуть. Путешествуя, он испытывает другие проблемы, другие чувства, но там – воздух, космические масштабы и прикосновение к иному мирозданию...

*СЛОН № 3**Встреча*

И убыло ещё три года. Стал год триста двадцать третий. Словно в исполинских песочных часах: медленно истекало из верхнего вместилища, наполняя нижнее. И песчинки обозначали в них время человеческих жизней. «И многие же будут первые последними, и последние первыми», – скажут совсем скоро, через каких-то триста, с небольшим, лет, когда кто-то всемогущий перевернёт сосуды, взяв на себя право решать: нужно ли досыпать содержимого в верхний и тем продлить жизнь человечеству, или прекратить, более никому не позволяя менять местами эпохальные чаши.

Ратхама так давно добирался из Александрии, с берегов моря, так долго с верблюжьим караваном плыл песками пустынь в Гизу, что когда прибыл туда, успел забыть плавные, чувственные цвета моря и дрожащие вместе с водой краски.

Хотя ещё совсем недавно, он, в мечтательности мнимый голубым цветом моря и неба, сливающихся на горизонте, за которым казались вечность и спокойствие, – уходил в это море,

ловил каждое впечатление каждого мгновения, и, ощутив, что ему довелось выжить, добирался до других мечтательных пейзажей. Он часто сидел, обратив лицо к небу, где ясные бело-жёлтые цвета луны, как и звуки, из которых слагались слова, вызывали мечтательное и ностальгическое, уходящее в глубь веков, о которых не раз ему рассказывал его отец Маратха.

Теперь, короткие, выкрашенные хной и напитанные снадобьями, волосы Ратхамы, стали жёстче необработанного в папирус тростника. Когда-то ласковая ткань одежд огрубела, а укачанные длинным путешествием мысли, наоборот: мягко, лирически трепетали в предвкушении встречи с пирамидами.

Он оставил караван и в состоянии созерцателя брёл сейчас по пустыне. Мысленно, словно разноцветные квадраты, но схожего тона, он вставлял друг в друга звуки, и они свободно уплывали словами в пространство.

Фигуру полулежашего на зыбучих песках человека, Ратхама увидел неожиданно. Остановился, долго вглядываясь в неё. Перед фигурой, отделённой от себе подобных аскетической жизнью и от пирамид, к которым всю жизнь будет тянуться взгляд человека, – было такое пространство, которое ещё более усиливало возникшее чувство одиночества и печали. Ратхама понял, что перед ним отшельник, истощённый суровой жизнью в египетской пустыне. Он молча опустил в песок рядом с ним, дожидаясь внимания.

Отшельник держал в руках череп. Держал так бережно, отстранённо, будто продолжал начатые давно размышления о бренности человеческого бытия. И чем дольше отшельник глядел в чёрные дыры глазниц когда-то человека, тем мудрее и глубже становился его взгляд, не приемлющий сейчас ни взрыва чувств, ни вскрика, а лишь предрасположение к неведомому ему человеку. Его тело было чуть прикрыто груботканной хламидой. Светлая борода и морщинистый лоб выдавали тот возраст, когда соседство с гладкой, отполированной временем сферой, не вызывало удивления, а только справедливость и добрую волю. Жилистые пальцы, перебирающие чётки или поглаживающие мёртвые кости черепа, показывали несуетность и терпение. Всё было высвечено мягким, приглушённым светом, исходящим из самого отшельника, что на фоне ярко и контрастно освещённых солнцем пирамид вызывало потрясение и покорность.

– Радуйся, – всё же тихо, по греческому обычаю, поприветствовал Ратхама старца.

– Цели наши конечны, – поднял веки старец. – Лишь две из них главные: радость и горе. Так наставлял нас учитель Аристипп.

– Тот, который стал первым брать деньги за обучение? – чуть улыбнулся Ратхама.

Старец ещё пристальнее посмотрел на него:

– Ты ещё молод. Эти деньги он отсылал своему учителю Сократу. С горем или радостью ты пришёл сюда?

– Горе моё безмерно: в Вавилоне умер Александр. Его народы скорбят. Разве сюда не долетели плачи и стоны его подданных?

– Только вечность рассудит: кто велик, а кто ничтожен. Чем же так дорог тебе этот предводитель, возжелавший от греков божеских почестей и высмеянный за это Диогеном?

– Его воины вырвали меня из рук безверных персов.

– И ты из раба стал свободным?

При этих словах, что-то дрогнуло внутри Ратхамы, будто фрагмент сна, который повторялся все годы его скитаний вдали от родины, отца и матери – вспыхнул, высветил миг и исчез.

– Я вольноотпущенник и служу при Александрийской библиотеке. Но, «кто под царскую вступает сень, тот раб царю», – вспомнил Ратхама когда-то прочитанное.

– Ещё Аристипп возразил Дионисию: «Не раб царю, коль он пришёл свободным».

Словно сверкающие маяки, блестели на солнце пирамиды. Ратхама молча смотрел на них, мучаясь вопросом: «Люди ли воздвигли это?!»

Будто поняв, о чём думает он, старец-отшельник тихо изрёк:

– Фараоны лишь унаследовали то, что оставили им боги, прибывшие с затонувшего острова. Таинство и господство пирамид через тысячелетия будет властвовать над человеком.

– Но и пирамиды боятся времени. За две тысячи лет они, думаю, несколько изменились, – усомнился Ратхама.

– Это время будет бояться их...

Старик надолго замолчал, опять поглаживая морщинистой рукой гладкую сферу лежащего на песке черепа.

Ратхама повернул лицо в пространство пустыни перед пирамидами, чтобы было легче молчать. Два цвета видел он сейчас. Белый – пустынный – едва заметной линией на горизонте переходил в бледно-голубой – неба; ничего более не существовало в этом пространстве и, казалось, не могло существовать.

Ратхама вынул заветные три камушка, положил их рядом, в задумчивости складывая имя сына, который ждал его сейчас в далёкой Александрии и, конечно, скучал. Ратхама почувствовал вдруг, как неестественно напрягся старец, протянув руку к одному из камней.

– Положи это вот так, – попросил старец, и сам переложил слог. – Я видел эти знаки почти на таких же камнях у одного раба. Как и ты, он не из эллинов родом. Тебя зовут?..

– Ратхама. Но мой отец не может быть рабом, а такие камни есть только у него.

Отшельник молчал. Затем, подняв голову, посмотрел на Ратхаму.

– Никто не родится рабом. Людям одной расы всегда кажется, что представители других очень похожи между собой, но ты и вправду похож; на того раба. Он вёл себя очень достойно и, скорее всего, был куплен влиятельным господином, – старец виновато опустил голову. Больше мне нечего тебе рассказать. Это было три года назад, на Крите.

Ратхама долго вглядывался в горизонт, переводил взгляд на камни, одиноко лежащие посреди песка пустыни, на которых было сложено его имя:



– Ра-тха-ма, – но если переставлять камни, то и имя отца его и сына, и имена нескольких предков, которых он старался помнить...

«Вот в замке чирикнул ключик, значит – это ты идёшь», но сейчас, в пять утра, ключ в двери не чирикал, а скрежетал, и было не до чужих стихов. Из-за двери слышался скандальный голос младшей дочери, матерные слова и другие, значение которых Кирилл не совсем понимал. «С дискотеки вернулась», – просыпаясь, начал воспринимать действительность Кирилл.

Маша уже шарахалась в прихожей, огрызалась на увещевания матери и просьбы не шуметь. Шедшее на смену поколение, жило по своему графику, по своим понятиям, вообще – другой жизнью. Иногда Кириллу казалось, что все фибры души дочери источали только презрение к нему – отцу. А иногда, что её душа уже развернулась к разврату: дискотекам – с бесполыми певцами (или певицами?); фильмам – с гнусавыми переводами похотливых выкриков и стонов: «О-о, йес!»; газетам – с выставленными напоказ титьками, жопами, мандами и сосущими ртами: всем тем, о чём Кирилл не только догадывался, но и знал, с юности не будучи пуританином. Но мысль о том, что части тел принадлежат чьим-то матерям, жёнам, дочерям – вызывала отвращение и брезгливость.

Кирилл слышал беспощадные упрёки, брошенные ему и Наталье, видел неистовство Маши, да глумливый плевок под ноги, за который хотелось врезать по губам. Но не только

дочь, а и государство безразлично сплюнуло в его сторону, цинично обозначив свободы, к которым его поколение не было приучено. Умыло руки и бесстрастно ждало, когда их облачат в перчатки, чтобы приступить к стерилизации.

Хотелось во что-то верить или, хотя бы, оправдать тех, кто придёт вместо.

Больше сорока лет прошло, а Кирилл не забыл, что заслужил и вторую порку, которую отец отсрочил, да так и не исполнил.

Когда тебе исполняется пятнадцать лет, однажды обнаруживаешь себя в постели взрослым человеком. На комод, – рядом с фарфоровыми статуэтками, крашеными цветами из чьих-то перьев, слонами, вереницей бредущими друг за другом, бабушкиной шкатулкой, в которой так много интересного, – теперь лежат твои первые документы. Характеристика и аттестат об окончании школы-восьмилетки, где взрослые люди оценили твои знания: русский язык – «пять»; литература – «пять»; математика – «пять». Сладостное своей безмятежной длительностью детство осталось на перепаханном босыми ногами футбольном поле, на четвёртой в левом ряду парте, где уже никогда не будет сидеть Ира Ильина, которую ты безумно любил. А однажды поцеловал в бантик, но она этого не почувствовала. Осталось на жаркой от света прожекторов сцене заводского Дома пионеров, где ты в белой, отутюженной матерью рубашке, с алым шёлковым галстуком на шее читаешь стихи Маяковского; в сотнях прочитанных книг, благодаря которым ты путешествовал, сражался, погибал и воскресал, смеялся и плакал.

Ты проснулся, а ничего не изменилось. Та же белая печь в углу тесной комнаты, то же бряканье кастрюль на крохотной кухне за фанерной перегородкой, и ворчание бабушки, скрип половиц на перекошенном полу, тот же туалет на улице и вода в колонке за двести метров от дома.

А в конце полуразрушенной улицы уже строят красивые строгие каменные девятиэтажки, без дурацких вензелей на карнизах и размалёванных на разные вкусы палисадничков, – И Витька, с которым ты вместе с пелёнок вырос, у которого всегда не было отца, – уже получили с матерью двухкомнатную квартиру. Он стоит, наверное, сейчас на балконе, покуривает втихаря и поплёвывает свысока в сторону оставшихся неснесённых домишек. Вчера к нему приехал из Москвы двоюродный брат Владик, старше их с Витькой на три года, который уже год учится в «Бауманке», но даже это не убеждает отца Кирилла. Опять с утра нравоучения и упрёки. Заводит отца бабка, плюхнув ведро с помоями рядом с порогом.

– Опять этот стилига приехал. Рубашку в брюки не заправляет – всё навывпуск, носки красные, на голове гребень, как у нашего петуха. Господи! Как только таких обормотов в институт принимают?!

– Ты документы подал? – отец стоит перед Кириллом в майке и пижамных брюках: с уродливым горбом на спине, маленький ростом, потому что вдруг Кирилл за лето стал выше его на полторы головы.

Он, конечно, видит, что документы всё лето валяются на комод, а Кирилл со своим будущим ещё не определился.

– Не хочу я в математическую школу, – еле выдавливает из себя Кирилл.

– Да тебя и не примут туда, оболтуса, – вклинивается в разговор бабушка. – По физике и по химии – «тройки»!

– В техникум иди, – чтобы хоть что-то посоветовать, говорит отец.

– И сидеть потом на ста рублях, как ты всю жизнь.

– На старые деньги, между прочим – тысяча.

Бабушка и до сих пор всё переводит на старые деньги. Однажды, через год после реформы, она прочитала в газете о какой-то трагедии на стадионе в южноамериканской стране. Погибших было человек триста. Она горько вздохнула тогда: – А на «старые» это сколько же будет?

Кирилл, конечно, подаст документы в эту школу, потому что больше некуда. Не в ПТУ же идти. Он всё выжидал, куда сдаст документы Ильина, но та, не подумав о нём, пошла в медучилище. Но с тех пор, как человек в белом халате, долго и больно ощупывавший его холодными костлявыми пальцами, изрёк: «Не выживет он», – Кирилл сторонился этих людей.

Вот и теперь – вычеркнул навсегда Ильину из своей жизни. Хотя потеря казалась невозможной.

– Сдай документы, – всё-таки попросил отец.

Он смотрел на Кирилла так, будто опять у него, его сына, желтуха, опять надо ехать в Москву, доставать какие-то чудодейственные лекарства и снадобья.

– Сдам.

– Владик надолго приехал?

– Не знаю.

Снова в разговор встряла бабушка, которая никак не могла вынести помой на улицу.

– Давно ли таких вот стилиг, как он, к расстрелу приговорили. Штанами американскими торговали и ва-лю-той! – последнее слово она произнесла так, будто торговали Родиной.

Только начинавшийся день испортили Кириллу окончательно. Он вскочил, оделся наспех, и, уходя, постарался хлопнуть тяжёлой, обитой ватой и дермантином, дверью. Но та, висевшая основательно, не поддавалась на провокацию, пригасила порыв.

А к вечеру всё и произошло. Владик угостил их с Витькой портвейном № 15. Кириллу досталось немного: стакан. Но, взбудораженный рассказами Владика о московской жизни, песнями с пластинок, которые они слушали на Витькином «проигрывателе», походом в школу, куда они с Витькой сдали наконец документы, – Кирилл захмелел быстро. И это, не испытанное им раньше состояние свободы, взрослости, возможности говорить громко, когда слушают тебя, понимают тебя, – привело к потере бдительности.

Они стояли у раскрытой двери трамвая, который мчался по длинному, прямому перегону, спорили о чём-то, и, в нетерпеливом порыве, не дождавшись пока трамвай остановится совсем, стали поодиночке выпрыгивать из вагона. Первым – Витька, вторым – Кирилл. Наверное, его подтолкнул Владик, который тоже желал успеть сделать прыжок на ходу. Но для Кирилла получилось неудачно. Он сорвался со ступенек и кубарем скатился на асфальт. Тот принял его жёстко. Лоб, нос – кровоточили, а на купленных недавно брюках, зияла дыра.

Ещё кто-то из соседей рассказал отцу о случившемся. И как Кирилл ни старался придти домой не замеченным, сделать этого не удалось. Отец говорил громко, долго и бессвязно, в том числе и о том, что Кирилл «позорит семью». Получалось, что Кирилл – человек конченный, и Кирилла это обидело. Отец уже в сердцах повернулся, пошёл длинным, узким двором к крыльцу, когда Кирилл бросил ему в спину:

– Горбун!

До сих пор Кирилл надеется, что отец не услышал этого слова. Ведь должен тогда был остановиться, вернуться и дать Кириллу по физиономии. Но нет. Запнулся только и будто съёжился совсем. И с тех пор стал быстро стареть, словно заторопился уступить дорогу Кириллу. Он умер неожиданно, лет через пять, когда Кирилл уже ощутил другую, настоящую взрослость, готовый стать на ноги. Ушёл, когда Кирилл дослуживал армию, не дав возможности даже попросить прощения.

*Он – ровесник. Он умер тогда,  
в пятьдесят с небольшим, не дождался...  
как я мчался сквозь все города!..  
Не успел, не сказал, не признался...*



Кирилл смотрел сейчас во вздрагивающую спину дочери, ему хотелось подойти, положить руки на хрупкие плечи, повернуть её к себе, – но боялся её взгляда: злого, но с угадываемым внутри испугом и, как нож в сердце, мучением.

– Сколько ей надо денег? – спросил он Наташу, когда младшая дочь ушла в свою комнату и там притихла.

– Полторы тысячи, – устало ответила Наташа.

Он даже не спросил: на что?

Хотя бы до вечера станет тихо, и можно спокойно(?) работать.

– Кирилл, ты не знаешь, куда подевались три слоника?

Наташа протирала пыль в комнате – это её успокаивало – и стояла сейчас у книжного шкафа.

– Ушли.

– Я серьёзно спрашиваю.

– А я серьёзно отвечаю. Скоро остальные уйдут, – Кирилл позвал Наташу на кухню, на очередную утреннюю оперативку, – которые проходили в последнее время регулярно.

И с чего бы ни начинался разговор, он всегда возвращался к оставленному Кириллом заводу, к тому времени, когда завод, как и Кирилл, жил интересной и объёмной жизнью.

\* \* \*

После отъезда итальянского менеджера Саши, Кирилл стал ждать договора. Его больше всего, интересовала новая пресс-форма, а значит, новая продукция, которая вот-вот могла потребоваться в Казахстане. ГЮЛей Кирилл в суть переговоров не вводил, понимая, что заказ может «уплыть» в «Регионспецстрой», откуда трудно будет выпарапать какие-нибудь деньги.

Да и в Казахстане оказалось всё не так просто. Там, на заводе по производству «пепси», боролись две группировки: казахская и русская. Русские хотели, чтобы ящики под «пепси» шли из России; казахи – откуда угодно, пусть дороже, но не от русских. Если бы в эту сделку вклинился «Регионспецстрой» со своими ненормальными, рассчитанными на «дурака» ценами, то уж тем более, русскому лобби у казахов было не выиграть. Кирилл держал всё в тайне, а ГЮЛи никак не могли понять: зачем ему понадобилась новая пресс-форма? Тем более, хорошо расходились ящики под бутылки «ноль-пять». Но планируемый из Казахстана заказ, ожидался впечатляющим, поэтому Кирилла беспокоило оборудование, сбой на котором стали всё чаще и чаще. Так что запчасти из Италии заводу бы не помешали.

Наконец, в августе, всё утряслось. Простыни факсов, проектов договоров, рабочих расчётов с калькуляциями, которые Кирилл получал на домашний факс, – превратились в трёхстраничный договор. И когда Кирилл получил его по почте, с оригиналами печатей, он сообщил об этом ГЮЛям. Поставки продукции должны были начаться с марта будущего года, по восемь вагонов ежемесячно, вплоть до декабря 95-го. Но ГЮЛи, как и ожидал Кирилл, не обрадовались его инициативам. Надулись, словно маленькие ребятишки, которых не приняли играть в свою компанию. Но, скорее всего, он нарушил какие-то их стратегические планы. Или, один сделал то, что они, «надувая щёки», долго бюрократили бы втроём.

– Я же не в карман эти деньги положу, а на завод они придут! – безуспешно пытался оправдаться Кирилл, стоя, как школьник перед доской, в офисе «Регионспецстроя». – Долги по зарплате – три месяца, налоги не плачены: замучился отчитываться. У них в налоговой инспекции знаете, какой плакат висит – «Недоимщик – враг народа!» Вы продукцию берёте, а денег от вас не дождёшься. И потом: если поставки напрямую, то и с вагонами вопрос легче решать, и таможенной.

– Пустили козла в огород! – в шутку, или всерьёз высказал своё мнение Лёха. – Такие «бабки» на сторону уходят! Ты знаешь, что нас выселяют из этой церкви? Офис надо покупать, а это серьёзные затраты.

– У вас офисы на уме, а там... – Кирилл кивнул за окно, где, далеко, находился теперь его второй дом, – крыша над цехом течёт. Осень начнётся, опять станки плёнкой покрывать, – он начал горячиться, а ГЮЛи сидели невозмутимо, как судьи: в одинаковых красных клубных пиджаках, одинаковых галстуках, с одинаковым выражением глаз. – Накурили тут! На улицу выйти не можете? Церковь всё-таки, Юлек!

– Ты, Кирилл Николаевич, набожный стал?

– Как наш губернатор, – развил тему дальше Лёха. – Этому тоже срочно понадобилось приход возвернуть. Перед выборами, страха ради иудейска, начнёт теперь направо – налево подарки раздаривать. Вчера опять из приёмной звонили, батюшка должен придти, – Лёха протянул басом, – о-сме-чивать будут.

Кириллу тема не нравилась. Конечно, офис располагался «прикольно», как выразилась его младшая дочь, побывав здесь. Впрочем, как и вся маленькая площадь, где находилась церковь. Это был такой «сюр» – нарочно не придумаешь. Вот и сегодня, августовским ранним утром, Кирилл, вышел на высокий, крутой берег широкой реки и вглядывался в чрезмерно-реальную ясность, осязаемо висевшую далеко, за левым, пологим берегом. Оттуда: через неподвижные образы полей, синие леса, речные и озёрные воды, – веяло душевным покоем. За рекой, в далёких безлюдных пейзажах, серели, похожие на черепахи панцири деревеньки, жившие размеренно, спокойно, в такт вращению тела Земли, часть которой они составляли.

Но, повернувшись к реке спиной, Кирилл видел уже другое, привычное для города, тем более центральной его части, но странное. Объекты расположились рядом, будто стремясь столкнуть друг друга с крутого обрыва. Чуть поодаль, на другой стороне площади, высилось скрупулёзно выписанное, будто на кусок неба наклеили чёрно-белую фотографию, здание гостиницы, ещё недавно бывшей ведомственным подразделением обкома партии и носившей соответствующее название «Октябрь». Перед гостиницей, словно фантом из времён интервенции и гражданской войны, навечно приземлился аэроплан: свидетель и участник конкретных военных сражений, подвигов других поколений – это были уже деды и прадеды Кирилла или кого-то другого, начинавшие лихо и в «мировом масштабе». По ночам два мощных прожектора, вмурованных в постамент, освещали машину, устремляли свои лучи, крест на крест, в небо. Но аэроплан отлетался: его рейды над позициями войск Антанты; снегопад листовок, сброшенных на чужие окопы; «мёртвые петли» и «тараны», – остались в прошлом. Сейчас, особенно по ночам, «Антанта» наступала на него сама.

Кафе с ненавистным названием располагалось совсем недалёко. Ненатуральная синева крыши-купола предполагала ауру таинственности, но ничего загадочно-непонятного за стеклянными, прозрачными стенами кафе, не существовало. И если днём оно набирало сил, отдыхало, то к ночи начиналась жизнь, если так можно было назвать царивший здесь мир галлюцинаций, подсознания, где молодость старалась пренебречь смерть или соблазнить её. Возбуждённая или наоборот, дремотная молодёжь, опустошив в «Антанте» карманы, вываливалась на площадь, допивала своё пиво и с ненавистью швыряла в фанерные бока аэроплана пустые бутылки. Или же: прячась в темноту прицерковной территории, подходила к приделу церкви, тупо и долго мочилась там, оставляя о себе память. К утру стены придела не успевали высохнуть, но там наступало какое-то оживление, звонили телефоны, журчали факсы, ребята-евреи занимали свои рабочие места в бывшем алтаре православного храма. Как и другие объекты, населявшие площадь, церковь не являлась тем, чем она казалась со стороны любому нормальному человеку, а лишь соучаствовала в создании мира, состоявшего или из обликов,

чуждых волнениям, грёз, или из существ, порождённых ночными кошмарами. А Кирилл волею судеб был частью этого сюрреалистического процесса.

Вдоволь накутившись, Кирилл вернулся в офис, возле которого уже стояла машина с номерами губернаторской администрации. Вокруг церкви, в сопровождении благочестивых на вид старушек, крупными шагами ходил батюшка в длинной чёрной рясе. Низ его одеяния был уже облеплен цепкими, колючими плодами репейника, и это говорило о том, что обмер своих новых владений он делал давно и основательно. ГЮЛи стояли перед входом в церковь, молча курили и наблюдали происходящее. Батюшка остановился, устремил взгляд на купола церкви, где давно не было крестов, и начал молитву.

Подойдя, Кирилл услышал её окончание.

– ...«И молю Тя, благаго Владыку моего: да будутуши Твои выму внемлющее гласу молитвенному людей молящихся Тебе в святем Твоём сем храме почившыя же у него помяни в небесном Твоём царствии, презирая вся согрешения их, яко благ и милостив во веки. Аминь».

– Аминь, – не громко повторил и Лёха. – Кабздец нашему бизнесу. Надо линять отсюда.

Все молча двинулись за батюшкой внутрь.

– Как с ним разговаривать? – пробурчал Юлек. – Он ни одного слова ещё по-русски не сказал.

Но перед комнатой, где был кабинет Юлека и Лёхи, и где вершилось основное «планов громадье», батюшка остановился, обратившись к Юлеку.

– Здесь у вас что?

– Кабинет: мой и зама.

– Это же место, где был алтарь. Он – преграда между небесным и земным. А вы эту преграду преступили.

Воцарилось молчание. Но открылась дверь кабинета, и оттуда вышел клиент. А поскольку они торговали ящиками не под кефир, а под водку и пиво, то клиентура тусовалась соответствующая. Этот – был главный «распальцовщик», а так как ящиков всегда не хватало, он сам иногда разруливал ситуацию между такими же страждущими.

– Пацаны, долго вы тут будете крестным ходом ходить? Я тут, блин, полчаса уже высиживаю!

Лёха грудью постарался затолкать «распальцовщика» обратно в кабинет. Батюшка повернулся к выходу и перекрестился. Уже на улице, батюшка посмотрел на каждого из ГЮЛей, на Кирилла – так, как рентгенолог рассматривает черепа и кости на снимках. Лёха попытался шутить, Гриша стоял бледный, Юлек что-то лепетал о рыночных отношениях, иудействе и интересах страны. Батюшка подвёл итог своему визиту.

– Сначала вот что я вам скажу. Будь ты иудеем, христианином, но чужые святыни надо уважать. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» И ещё: «И вошёл Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано: „дом Мой домом молитвы наречется“; а вы сделали его вертепом разбойников».

\* \* \*

– Вот и не сложился ваш многонациональный альянс, – Наташа смотрела на Кирилла усталыми, невыспавшимися глазами.

– Да уж, не судьба.

– Так куда же уходят наши слоники?

– Я на них езжу, чтобы заснуть.

– Куда?

– К пращурам.

Она смотрела на него, напряжённо пытаясь понять.

– Устал ты с нами.

Сейчас начнёт винить себя: «На пенсии, государственной подачки не хватает заплатить даже за квартиру и телефон, не так воспитала детей, не могут выкроить время, когда можно без оглядки на телефон, на шараханья в дверь младшей дочери любить друг друга...»

Кирилл хотел возразить, успокоить, но осознал вдруг, что ничего этого жена не сказала.

– Ну, чего ты опять? – пожалел он Наташу.

– Брось ты всё, съезди куда-нибудь, отдохни. Куда бы тебе хотелось?

– В Индию.

– Почему?

– Там слоны живут.

– Что я тебе могу сказать... – она замолчала, понимая, что ни на какие поездки у них сейчас денег нет.

– Вот именно, – Кирилл перегнулся через стол и погладил Наташу по лицу. – Я и так путешествую. Правда, хотелось бы с тобой. Как раньше. Ладно. Пора на работу. Не скандаль тут, с Машей...

## 8

Уже неделю Александр мучился над программным обеспечением для станков, которые нужно было отправить на каирское предприятие. И когда его вызвал к себе господин Марчелло, он приготовился говорить о работе.

Но шеф выглядел сегодня странно. Его пиджак был небрежно брошен на диван, рукава голубой рубашки закатаны, ворот расстёгнут, глаза смотрели устало. И вообще он весь выглядел как после бани: размякшим и рассредоточенным.

– Проходи, садись, – пригласил он Александра. – Вот сижу и пытаюсь мыслить по-русски. Ничего не получается. Я, Марчелло Благовииони, и я – совсем итальянец.

– Но, сеньор Марчелло, это же естественно.

Шеф посмотрел на Александра долгим взглядом, и это было выражение глаз спаниеля, рождённого для охоты и азарта, но вынужденного жить кабинетной жизнью. Он сидел, подетски подогнув под себя ногу, то ли готовый слушать, то ли – наоборот – поведать сам какую-нибудь историю, которых к его восьмидесяти годам, наверное, накопилось немало. Опущенные уголки рта, напоминали обломки двух турецких ятаганов, придавая лицу грустное выражение. Казалось, история будет если не совсем печальная, то вполне грустная.

– Это было бы естественно, если бы я не родился Маркелом Благовым от русских отца и матери.

«Индийское кино!» – подумал Александр и невольно улыбнулся. Будто поняв, о чём он подумал, шеф продолжил.

– Сколько наций и народов расселяется по миру, но у всех это происходит естественно, просто, и только у русских: вместо путешественников – странники; а странничество превращается в странствование; и вот уже вместо поклонений святым местам или церковным реликвиям, только один символ – посох. И ни одно поколение русских не жило без войны, а то и нескольких, выпавших на его молодость или зрелость, – шеф налил в два фужера немного вина, протянул один из бокалов Александру. – Как это у вас говорят: «Не чокаясь». Ты уже давно живёшь здесь, в Италии. Тебя что-то связывает с Россией? Родители, места детства, – что? Какой-то момент, когда ты испытал истинное, невозмутимое счастье: не от власти, которой ты, слава Богу, ещё не изведаль; не от богатства, от которого не может быть наслаждения. Счастье от простого чувства: есть родители, внезапно полюбил кого-то, и не физическая близость, а лишь сама возможность думать о человеке, приводит тебя в трепет, – сеньор Марчелло поднял голову вверх, как делают в двух случаях: от неинтересного разговора, выискивая взглядом изъяны на потолке; или, когда не хотят, чтобы слеза оставила след на рубашке или лице. – Однажды, это было ещё до войны, в Неаполе, отец взял меня на похороны своего русского друга. Стояло лето. Мама, одетая в непривычное синее платье в белый горох и широкополую, белую шляпу с чёрной лёгкой лентой, шла рядом; с другой руки – отец. Мы спускались после похорон к морю, чтобы сесть на катер и отправиться домой. У меня перед глазами то и дело возникал момент погребения и плачущая девочка, моя ровесница – это её отца хоронили. Но я, зависая на ладонях родителей, испытывал кощунственное наслаждение: потому что мои родители были рядом – молодые и здоровые. Но когда уже хоронили моего отца, эта девушка в строгом тёмном костюме разделила мою боль и плакала вместе со мной. И опять я осознал странную степень удовлетворения.

– Сеньор Марчелло, что это за история с вашими русскими корнями?

Тот резко повернулся, будто что-то решив для себя окончательно, подошёл к столу и взял зелёную кожаную папку с файлами внутри. Прижал её к груди, задумался.

Александр догадался, что документы, лежащие внутри папки, не касаются работы, и не понимал, что от него хотят, а оттого ощутил некий дискомфорт, будто попал в гости к незна-

комому человеку. Он поднялся, и теперь они стояли друг перед другом: молодой сотрудник фирмы и шеф, которому скоро исполнится восемьдесят.

– Я слушаю, сеньор Марчелло.

– Я дня на три уеду в Геную. Здесь, – он протянул папку, – неотправленные письма моего отца, – шеф опять засуетился. – Они на русском языке. Я бы попросил Вас, Саша... тебя, – поправился он, – перевести их на итальянский язык и занести это всё в компьютер. Это тебя не затруднит?

– Я всё сделаю, – он хотел кое-что уточнить, но шеф мягко положил ему руку на плечо.

– Где-то я вычитал, что древние римляне только раз бывали в жизни откровенны: когда составляли завещание. Потом все вопросы.

Александр взял папку, на обложке которой была наклеена обыкновенная четвертушка тетрадного листа с надписью:

### ***Неотправленные письма***

#### ***русского подпоручика***

#### ***Николая Благова***

**(Nicolo Blagovioni 1890–1943)**

Надпись в скобках была сделана отличным от верхних строк, цветом и почерком.

\* \* \*

*Письмо первое.*

*Сентября 1916 года.*

*Родная моя матушка, братья Виктор и Степан. Вот я и за границей. Но хорошо, что батюшка не дождал до этого дня, когда я, русский офицер, нахожусь в плену, в Австро-Венгрии. А ещё недавно, в августе 14-го, я в порыве восторга и гордости не стыдился слёз – за наши победы в Галиции, за нашу русскую армию, за царя и отечество, за солдат, с коими мы громили немцев и австрияков.*

*И даже в трудную весну 15-го года, когда нашей армии суждено было принять на себя главные удары неприятельских войск, и весь год, что мы отступали – я не терял веры в нашу победу. Глупо попасть в плен во время такой операции, которую учинил противнику наш командарм генерал Брусилов, тем более, что рядом с нами геройски воевал князь Михаил Романов. Наверное, весна, которая чудесна в этих галицийских краях, да предыдущие удачи в Эрзуруме и Трапезунде, окрылили нас – боевых офицеров. Окрылили настолько, что в карпатских перевалах у нас просто закружились головы. Да так, что мы не увидели, как нас стали предавать союзники. Как изменился русский солдат: измотанный недостатком боеприпасов и снаряжения, развращённый болтовнёй о революциях да шатаниями всяких партийцев, вестями из дома о митингах и забастовках.*

Наверное, эта война, да невозможность сесть за один стол с глазу на глаз под нашим шёлковым оранжевым абажуром, ещё больше развеличили нас, мой брат Степан. Сейчас вспоминаю наши споры, когда, закусив удила, мы с юношеским ещё максимализмом пытались оправдаться каждый за избранный в жизни путь. Ты кипятился, вскакивая, обзывал меня «салонным демократом», «узколобым обывателем» и «контрреволюционером». Ты и в детстве любил в наших играх помахать деревянной саблей или выструганным из доски наганом. Предпочитал лазать по заборам, а не посидеть лишний раз с книгой, а уж тем паче помочь маменьке принести с базара корзинки с едой.

Пытаюсь, и до конца не могу понять: как и когда революция вошла в нашу семью. Батюшка служил в земской управе, вся его «крамола» и состояла разве в излишней ревности к народному просвещению, да субботним походам в какой-то либеральный кружок. Мне кажется, что ты, маменька, всегда его тихо ревновала к посещавшим кружок мещанкам и, как и я, боялась пришедших и неблагонадёжных элементов из бродячих интеллигентов-народников с горящими глазами ссыльных, которых в нашей губернии развелось тогда немало. Ты помнишь, Степан, когда тебе было одиннадцать, а мне десять лет, к нам в дом зачастил Алексей Алексеевич. Он приходил вечером, тихо открывал калитку и стучал тростью в раму нашего окна. Я видел пристальный взгляд направленный на нас из сумрака двора. Он разговаривал с батюшкой, а глядел на тебя и повторял, будто заповедь, фразу своего друга Чернышевского: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу – все рабы». А ты, Степан, глядел на него, как на пророка, и отодвигался от батюшки, который не желал превращать наш тихий, уютный дом в квартиру для явок и склад для сомнительной литературы. Маменька вывела нас из комнаты, вела на кухню и там пила чай с вареньем из шершавой, мелкой, дивно пахнущей полевой клубники. Ещё угощала солоноватым, рассыпчатым печеньем, которое мы всегда покупали в Шапошниковой лавке. Крестила нас обоих, отправляя спать. Вспоминаю церковно-приходскую школу во втором трапезном эта же храма... В общем, то время, когда ещё не было ни баррикад 5-го года, ни полицейских погромов, ни войны, в которой размахивать уже настоящим оружием пришлось не тебе, Степан, а мне.

Иногда думаю: «Почему эти баррикады устроили рядом с нашим домом?» Ну не было же их ни в посёлке, где жил дед, ни за рекой, где кремль, городская управа, парк с хорошенькими барышнями. Тогда: в этот удивительно снежный январь, снега намело столько, что сугробы казались такими же высокими, как в детстве. Мы с соседкой Полиной – уже не дети, но ещё и не взрослые – дурачась, падали в эти сугробы, тут и там оставляя следы от наших тел. Разве можно было себе представить, что всего за несколько дней до Рождества, совсем рядом с домом, образуются баррикады, а снег окропится кровью людей.

Уже тогда, Степан, ты решил для себя нечто такое, о чём, по нашему возрасту, ещё нельзя было и думать. Баррикады дурно пахли раскисшей селёдкой из наваленных на них бочек; целые пласты заборов, вывороченных с удалю, перегораживали дорогу; выломанная коновязь, части которой напоминали кладбищенские кресты: всё пошло в ход. Ты рвался из дома, матушка спрятала твой башлык и гимназистскую шинель, а ещё просила не подходить к окнам, за которыми уже стреляли. А потом ты, как в омут головой, бросился в эту жизнь, где только один лозунг: «Долой!»

Я представляю, как если бы я был сейчас рядом, и наш многолетний спор продолжился въяве, ты и теперь ходил бы по комнате, задевая головой абажур, метал вокруг себя громы и молнии, и ощущение, что вся семья поставлена на ножи, витало бы в нашем когда-то спокойном доме. Ты, наверное, не простил мне того провала вашей сходимости, когда я не пустил Полину, хотя я всего-навсего перевёл часы и не дал ей попасть в капкан, уготовленный для вас полицией. Настораживала меня компания твоих социалистов: Ицко Фишбейн, Мина Шмерленг, Янкель Эпштейн, Рива Сониная, Бейля Погосс... Война всех теперь расставила по местам. Хотя вы теперь желаете ей поражения. И не столько объявили «войну войне», сколько – своему прави-

тельству. А нашу ненависть военных к германцам называете теперь великодержавным русским шовинизмом.

Знаю, что не скоро окажусь дома. Да и есть ли он – этот дом? И мои письма, скорее всего, окажутся неотправленными. Говорят, правда, что в Вене существуют такие кафе, где можно почитать австрийские и иностранные газеты, отправить или получить письма на свой адрес. Но где эта беззаботная Вена?

Решили с другом бежать. Ближе всего – Италия. В моей ситуации слово «бежать» не совсем верное. Австро-Венгрию, эту империю Габсбургов, саму раздирают противоречия. Не до нас. Наши хозяин, у которого мы работаем, сам считает войну проигранной и обещает снабдить нас хоть какими документами. А моё знание немецкого языка, думаю, поможет на первое время обосноваться на севере Италии.

Ничего не пишу о маленьком брате Викторе. Когда я уезжал, ему и было всего два года. Живы ли вы все? Храни вас Господь.

*Письмо второе.*

*Апреля 1917 года.*

...Так хочется спокойного, солнечного тепла. Уже конец апреля, но даже здесь, в Италии – всё ещё серо, буднично. Кажется там, за перевалами Альп, в другой Европе, откуда каждый день наносит тучи, – неуютно, промозгло, говоря по-русски: дряння и мокреть.

В северной Италии легализовались удачно. Здесь, где живут иные итальянцы: с немецкими фамилиями, даже тип лица – немецкий, – с моим знанием языка гораздо легче.

В России, война – лишь повод ещё раз поболтать о политике. Теперь я имею возможность читать газеты, которые, конечно как всегда наполовину врут, но хотя бы хронологию событий, какие творятся в России, я могу узнать.

Как это сейчас у вас пишут: «Самодержавие свергнуто! Февральская буржуазно-демократическая революция свершилась!» Но если бы всё этим и закончилось. Разрушили трёхсотлетний дом Романовых. Государь, которому я присягал, от престола отрёкся. Время рассудит, но вся процедура как она поднесена в печати, заставляет задуматься. Государь волен был в своём решении, но, чтобы сохранить монархию, надобно было поступать по закону. Отречение не по правилу: не в пользу сына, а в пользу брата Михаила Александровича, человека смелого и честного, чему я, видя его на фронте, не раз бывал свидетелем, – не могло окончиться ничем другим, кроме того, чем закончилось. Не мог князь Михаил принять престол, он его и не принял. Вот и вся революция.

С месяца тому, прочитал в газете «Neue Züricher Zeitung und schweizerisches Handelsblatt» (Новая Цюрихская и Швейцарская Торговая газета) сообщение, переданное из Берлина, о том, что Максим Горький восторженно приветствует новое правительство (кажется я, оно многообещающе называется Временным?) и призывает правительство «увенчать освободительное дело заключением мира» в идущей войне. «Это должен быть такой мир, который дал бы возможность России с честью существовать перед другими народами земли», – интересно, Степан, а что по этому поводу думает ваш Ленин? Вот уж, наверное, набросился на марксиста-любителя? Думаю, для Ленина все, кроме социал-демократов, – а уж Милюков с Родзянко и тем паче, – помещики и капиталисты. И война их – по вашим определениям – грабительская, разбойничья. О каком мире с ними можно говорить, пусть воюют, пока не опростоволосятся, а мы поглядим со стороны: нам такие поражения только на руку. Угадал ли я, Степан, ход ваших мыслей?

Думаю, что конкретные результаты этой военной кампании никого по большому счёту не интересуют, а уж тем более РСДРПэшников. Интересует власть. Весь вопрос в том – чьё большинство будет представлять её. Царская власть, которая принадлежала Романовым по происхождению, продана по закону, как это делалось в Карфагене, где она продавалась



с торгов, – быть не может. Надо надеяться, что не будет она взята силой, коварством или хитростью, чтобы не назвали её тирранической. Хотя, наверное, твои однопартийцы, Степан, до сих пор испытывают танталовы муки, когда созерцали желанную цель и не могли её достигнуть. Мысль о разогнанных левых Госдумах первого и второго созывов, ужас и у тебя, я уверен, вызывает затаённую обиду и желание мстить.

Аристократической ваша власть быть не может – это должны тогда править не богатые, не бедные, не знаменитые, но лучшие в государстве люди. Но партия, которую не интересуют военные результаты и победы России, не может привлечь в свои ряды лучших людей. Остаются власти демократические или же олигархические, о которых мы читали с тобой ещё у древних греков. При первой – правит большинство, при второй – происходит правление немногих: ведь избирать туда будут по достатку, а богатых всегда меньше, чем бедных. Но что такое большинство? Круги власти мне представляются в образе мишени. В каждом поле «большинства» найдётся свое «большинство», в том – другое... и так до тех пор, пока не сведётся всё к единой точке: фигуре-лидере. Который и будет осуществлять свои планы.

Кто там у вас, кроме Ленина? Вот и вся демократия. Конечно, юридически это нельзя назвать «монархией», а фактически?

Господи, как страшно за себя и за Россию! Если бы это был конец, но это же только начало. Только и остаётся, что помолиться на сон грядущий: «... прости ми грехи, яже сотворих в сей день делом, словом и помышлением: и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверны, плоти и духа».

А о плоти думать приходится. Пначалу не приходилось брезговать даже торговлей с лотков. Правда, так и не научился кричать громко и само забвенно, как это делают по утрам торговцы-итальянцы. Помнишь, Степан, как кричал старьёвщик в нашем детстве: «Старьё-ё берём!» – или точильщик ножей... Здесь же по утрам: молочник; торговцы хлебом, фруктами...

Плечи сгибают по португее, спина – по выправке. На ремне хочется чувствовать тяжесть оружия. К осени накоплю денег и вернусь домой. Помоги, Господи.

Письмо третье.

Декабря 1917 года.

Безадресные и бесполезные письма писать трудно. А теперь, после Петербургского переворота, когда мы, Степан, оказались в разных лагерях, наверное, мои письма были бы и просто для тебя вредны.

Всего месяц прошёл после вашей «социалистической революции» а (сужу по газетам) какой-то Советъ Народныхъ комиссаровъ своим декретом арестовал всех лидеров кадетской партии, в которой я состоял (и состою!).

И вот теоретический спор, который длится давно, с 5-го года, когда я был ещё мальчишкой, превратился в настоящую борьбу. В теоретических изысках, правда вставала то на одну сторону, то на другую. По крайней мере, так нам казалось – молодым, двадцатилетним. Я и батюшка читали «Русские Ведомости», статьи Бердяева, Струве, «Речь» и Милюкова. Ты, будто в пик спокойному и уютному теплу русской большой белой печи, которая грела наш дом, – предпочитал острые, злые языки пламени керогаза, готового в любую минуту вспыхнуть, если оставят его без присмотра. И в полутьме сеней читал свои газеты: «Социал-Демократ» или полулегальную «Правду», сменившую столько названий...

Война и только она не дала спокойно и вдумчиво развить ту ситуацию, которая возникла после баррикадного 5-го года: «тревожного, беспокойного и сплошь запутанного», – как выразился один из моих однопартийцев.

Почему-то, стал всё больше вспоминать Полину. Как она? Изменилась ли за эти четыре года, что я не видел её? Похорошела? Тогда, летом 5-го года, мне исполнилось пятнадцать

*лет. И я поцеловал её в щёку. Видя, как округлились её глаза, тут же, чтобы не сомневалась в моей порядочности, пообещал:*

*– Я женись на тебе.*

*Тут её глаза стали размером с луну, висевшую над нашими головами.*

*– Дурак! – крикнула она и врезала мне по физиономии.*

*С тех пор я уяснил себе: целоваться можно, но жениться не обязательно.*

*Нас, русских, в Италии здесь много. Историй, слухов про «наших» ходит достаточно. Как выразился ваш Ленин: «В Италии оппортунисты есть, – марксистов только нет в Италии (а уж тем более марксисток – моё), вот чем она мерзка».*

*Что-то я совсем загрустил. Теперь я России уж точно не нужен. У вас теперь там своя гвардия: Красная. А мы кто? Какой цвет от флагов, реевших над русскими войсками, останется нам?*

\* \* \*

Александр проглотил часть писем одним махом. В нём, задрожал нерв: от почерка, от взгляда оттуда, от языка, который он переставал чувствовать.

Однажды, в девятом классе, когда они «проходили» пушкинскую «Капитанскую дочку», его поразили всего два слова: «стала метель». И сразу возвратился страх.

Они с другом заплутали в широком зимнем парке. Уже смеркалось. Огромные, оплавленные временем воронки, образованные ещё до жизни Саши редкими ударами бомб – в войну – стали не интересны. Склоны воронок разгоняли лыжи, но, почему-то, раньше приносившие радость, теперь раздражали и утомляли своей повторяемостью. Саша нырял в эти воронки, выбирался на противоположный склон, снова нырял... и всё больше попадались на пути подснежные пни, кочки, пружинящие ветки. Теперь, когда они потеряли выход, а под валенками образовалась наледь, и они выскальзывали из жёстких полукружий кожаных креплений – всё только мешало и доводило до слёз.

Александр и сейчас вспомнил **это**: обледенелые шаровары с начёсом, жёсткую метель, замёрзших самих себя, прощавшихся с жизнью, продолжительность которой измерялась тогда всего половиной километра от дома. И встревоженную мать. Она стаскивала с него шаровары и выговаривала незлобно: «По морде бы тебя этими шароварами, по морде...» Он долго сидел, вспоминая. Поднялся и вышел на улицу.

К осени море притихло и лежало сейчас, прогретое за лето, гладкое, как экран монитора. Редкие фигуры ныряльщиков вонзались в его гладь, стараясь не образовывать брызг. Огромное кучевое облако, плывущее откуда-то с севера африканского континента, манило любоваться его причудливыми обводами, нависало над Италией и легко стремилось на северо-восток. Может быть, и в Россию.

## 9

Этот день был обыкновенным – весна, суббота.

– У нас всего полтора часа, – Наташа мягко и, как это часто бывало, неумело прикрыла дверцу машины, в очередной раз забыв, что на старенькой «пятёрке» Кирилла, дверь закрывалась «с разбегу». Как-то виновато и устало посмотрела на него.

Он перегнулся через сиденье, приоткрыл и жёстко захлопнул дверцу. Ощутил, как Наташа вздрогнула. Неожиданно для самого себя так и остался головой на её коленях.

– Завтра у тебя день рождения, – пробормотал он, пытаясь стать ласковым.

Завтра Пасха, – задумчиво и тихо поправила она его. – А сегодня – Светлый день. Второй раз мой день рождения с праздником совпадает.

Они замолчали. Наташа гладила его седые, жёсткие волосы, Кирилл лежал головой на коленях, но физически чувствовал пугающую опустошённость всего тела Наташи. Пасха нынче оказалась поздней, тёплой и благостной. Хотелось вспоминать...

Она часто рассказывала ему, что перед Пасхой, накануне, в деревенском доме Наташи всегда становилось светлее, свежее и прохладнее. А ещё пахло высоболенными, мокрыми, полами. Впервые после зимы перебеливали с мамой печку. Потом вынимали вторые оконные рамы, отчего подоконники становились шире, и на них можно уже было сидеть, глядя через вымытые стёкла на вычищенную, нарядную от молодой зелени улицу. Накрывали, вышитой цветным мулине, скатертью, стол, протирали от зимнего забвения рамки с фотографиями: и сразу становилось светлее.

Ближе к вечеру, мама в который раз пересказывала, как Наташа родилась на этой вот печке в давнее пасхальное воскресенье. Свежее, даже иногда до ощущения новизны, прохладнее, становилось от открытых настежь окон и дверей. Сквозь них, особенно с реки Урги, с огорода, сквозь мостки в сених, где стояли запотевшие прохладные вёдра с водой, – врвался ветер. По весне он гулял по церковной горе, шелестел в орешнике, переплетал нежные податливые ветви прибрежных ив. И на этих ветвях раскачивались птицы. Наташа выходила на огород, вдыхала неоглядную даль, спускалась узкой, выходящей с горы тропкой, к реке, полноводной под Пасху. Птицы иногда вспархивали стаей, и от этого взлёта опять приходило ощущение свежести.

Она вспоминала это очень часто, и Кирилл, словно сам проживал заново всё.

– Может, отъедем куда-нибудь? – в голосе Наташи не было нетерпения, она не настаивала, а просила помощи.

– Да, конечно, – засуетился Кирилл.

Их машина стояла в тесном, грязном по весне дворе, упираясь бампером в мусорный бак, из которого порывы ветра выхватывали обрывки газет, пустые пластиковые бутылки, тут же топорщились иглами одноразовые шприцы. Далее – безликое здание больницы, на втором этаже которого, в открытом настежь окне, на подоконнике, на корточках в позе «серунов», как выражался Кирилл, сидели двое, покуривали. Ладно дочери среди них не обнаруживалось.

Кирилл поглядел на Наташу. Её простое русское лицо было не то что бы усталым, но отрешённым. И без того правильные черты виделись жёстче, чем обычно, нос стал ещё прямее, губы – даже не накрашенные – чётче; и только пушистость ресниц контрастировала с серыми, холодными сейчас глазами. Усиливали впечатление недоступности короткие, подстриженные не ради моды, а лишь по случаю и забытые – волосы. Он включил заднюю скорость, машинально глянул в зеркало заднего вида, увидел там себя, вспомнил, что не брился уже три дня и редкая седая щетина, высвеченная солнцем, в других обстоятельствах делала бы его импозантным, сейчас – лишь усталым и неряшливым.

– В деревню бы тебя отвезти, на день рождения, – пытаюсь размягчить Наташу, высказался он.

– Не проедешь туда, – не согласилась Наташа, но вздохнула, – обещаешь только.

– Съездим. Вот подсохнет, и поедем... – попытался искренне заверить он.

– За двести километров...

Но пугали всего семь километров глинистого бездорожья, которое отделяло родную Наташину деревню от ближайшей, маломальской путной дороги – по весне, для его «жигулёнка», непреодолимых.

Она лишь взглянула с признательностью в глаза, но ничего не сказала. А он постарался быстрее отъехать с этого двора...

– У реки постоим, воздухом подышим.

Там, где Кирилл свернул с шумной центральной магистрали, спуска к реке, вроде бы не было: сразу за автозаправкой начинался крутой склон, о чём и предупреждал знак, где над чёрным треугольником видно было число 37. «Раз есть знак, значит есть и спуск», – догадался Кирилл, и направил машину мимо заправки, прямо на крутой склон горы.

– Куда мы?! – испугалась Наташа.

Он взял её ладонь в свою, и Наташа доверилась его решению. Спуск оказался настолько узким, извилистым и крутым, что Кирилл, проехав метров двести, повернул руль вправо и приткнулся бампером к отвесному склону. Заглушил двигатель, поставил машину на скорость, подстраховался ручником. Прямо перед лобовым стеклом зависло небо. И они как бы повисли в пространстве. Кирилл вышел из машины, нашёл какой-то булыжник и положил его под колесо. Закурил. Наташа смотрела на него из машины. Ветер не справлялся с его короткими, упрямыми волосами, лишь вздувал замшевую куртку, да бросал сигаретный дым ему в лицо. Кирилл снял тёмные очки, посмотрел через стекло на Наташу, попытался улыбнуться, но глаза так и остались слишком открытыми и грустными. Кирилл что-то сказал ей, но она не расслышала, а он повернулся и, ссутулившись от встречного верхового ветра, медленно направился вниз.

А она, как это часто происходило в её теперешней жизни, постепенно осталась одна...

Обычно он угадывал её далеко от остановки. Как не пыталась она менять время отъезда на работу, – это позволялось, – он чувствовал, что она поедет в это время.

Тогда, к марту подтаяло. На речке, мимо которой она ходила к остановке, обдуло лёд, он остекленел, напоминая теперь первый, осенний; на нём остались лишь натоптанные тропы. Кое-где от них отделялись в сторону одиночные следы и хорошо просматривались. Видимо, кто-то пытался уйти своей дорогой.

Вспомнился пустой салон автобуса. Она у окна. Где-то посередине пути Кирилл сказал:

– Как быстро мчит.

Она посмотрела на него и ничего не ответила. А за окном было ветрено, слёзно, совсем скоро пролетит день и наступит долгий, долгий вечер.

Они сидели на повёрнутом ко всему салону кресле, а она не любила быть на виду у всех.

– Пересядем? – спросил он её.

Обрадовалась: – Вы будете меня встречать теперь?

– Нет, – ответил он, – пусть это происходит случайно.

При расставании тихо спросила: – Вы не выходите?

Он ничего не ответил, да и потом ни разу не попытался последовать за ней, но она была благодарна ему за это.

Наташе вдруг стало страшно одной в застывшей на крутом склоне машине. Ей начало казаться, что вместе с ней сама мешает кому-то. Сейчас подъедет кто-то и столкнёт вниз.

«Может, так и надо? – пробежал по телу холодок. – Господи, что со мной... – тут же поправила себя – ... с нами? За что?»

Она вышла из машины. На взгорье дышалось легко, будто стояла на церковной горе в родной деревне, где никогда не бывало страшно, одиноко, даже и без Кирилла.

Рядом, буквально под ногами, слева, в глубоком овраге уже зеленели деревья, на верхушках которых сороки вили гнёзда. Казалось она стоит на этих кронах, а над ней уже только небо. Да так оно и было.

Кирилл тем временем спустился почти к реке, но остался на полпути, на взгорье, между рекой и Наташей, фигурка которой – если обернуться – виднелась высоко, нереально парила.

Над водой тучи бережно вбирали в себя солнце. Оно качалось в них, не падая вниз, хотя близился скорый весенний вечер. Уже через некоторое время его неяркий круг стал клониться ниже и ниже, в туманную дымку горизонта. Освещённые солнцем закраины туч, отражаясь в безупречной глади, освещали её, делали глубже. И вся эта опрокинутая картина обманчиво не двигалась, была нереальной в своей красивости и тишине...

Совершенно неожиданно, – будто Бог свыше, – судьба свела Кирилла и Наташу в колхозе, куда их послали работать от двух разных организаций. В пору молодости такие поездки практиковались так часто, что и удивления стечению обстоятельств не вызывали. И всё-таки...

Август, электричка, машины на пыльной станции...

К компании, где и так почти не было знакомых, как-то незаметно присоединили человек пять с винзавода. Пока от электрички ехали на грузовиках в центральную усадьбу колхоза, «винзаводчики» ожесточённо набегали на магазины, орали песни и даже к сумеркам не утомнились.

Сразу по приезду прикомандированную «пятёрку» местные власти решили отправить в дальнюю деревню, километров за двадцать. Когда же в темноте и суматохе выбирали повариху для них, неожиданно выбор пал на Наташу. Кирилл увидел, как она растерялась, с надеждой оглядываясь по сторонам в поисках помощи, а крепкая по части вина группа даже перестала горланить свои песни, с интересом разглядывая неожиданную попутчицу. Кириллу стало не по себе от мысли, что она останется одна с этими парнями.

Он взял её рюкзак: «Идём со мной». Она, видимо привыкшая к исполнительности, робко воспротивилась:

– А как же?..

– Обойдутся, – и они пошли.

– Как мало я тебя знаю, – тихо сказала она тогда, – но как мне уже спокойно с тобой.

...Утром его разбудил шум трактора. Заранее предчувствуя утреннюю свежесть, и потому осторожно ступая по прохладным половицам, он вышел на крыльцо. Отполированные деревянные перила и ступени густо запотели, но солнце уже снимало с них лёгкое дыхание августовской ночи. Оранжевый, цвета апельсина, трактор, свернул в длинный узкий проулок и заглох. Тракторист, крепкий парень в расстёгнутой на груди рубашке, сидел на гусенице и задумчиво счищал с траков чёрную, липкую землю, Кирилл видел, как солнце начинало играть на их шлифованных гранях.

За домом справа, синел лён, а вдалеке он переходил в сочную зелень хвойного леса. Вокруг было так мирно и просто, что захотелось зажить по-другому – не так, как в городе. И когда в соседнем доме, куда поселили девчонок, хлопнула дверь, и раздался голос Наташи, он обрадовался.

– Доброе утро, Кирилл!

– Здравствуй, Наташа. Хорошее утро!

– Удивительное. Что, пойдём на колодец или ты по привычке – из рукомойничка?

– Я мигом.

Колодец был на удивление новым, ладно срубленным, с чётко выделанными венцами. А в светлой окантовке сруба глубоко и тёмно холодилась вода. Кирилл, по-деревенски смочив росой ладони, бросил ведро вниз. Ворот колодца без скрипа податливо закрутился, с каждой секундой всё быстрее и быстрее, казалось, уже и не остановишь ничем. Но Кирилл обхватил ворот ладонями, их приятно загло, и ведро послушно остановилось у самой воды.

– Здорово у тебя получилось. В деревне рос?

– Если бы... К прабабке... иногда... на лето.

Умывались на лужайке. Весело. Она лила ему воду на спину, потом умывалась сама, пила из ковша, а он видел в воде её глаза, добрые и удивлённые...

– Где ты был!? Мне так вдруг страшно стало, – Наташа плакала редко, разве украдкой от него. При нём – редко. Сейчас слёзы стояли у неё в глазах. – Эта машина над обрывом, и ты ушёл... – она всё-таки заплакала.

Он обнял её, сразу почувствовав, как она постарела за последний год, как она одинока... даже с ним.

– Нам пора? – всё оттягивал он конец этого дня. – Может, в машине ещё посидим? Туман, зябко...

Возвращаясь, ехали к больнице медленно. Теперь они имели дочерей и даже внуку. Одной из дочерей скоро должны были поставить диагноз. Им могли его сказать и полтора часа назад, но в Светлый день – пожалели.

Сообщили позднее...

Посоветовали: «Как жили, так и живите». А как они жили?

Из счастливой семьи слонов собрался уходить ещё один – четвёртый...

## ***СЛОН № 4***

### ***Одиночество***

Иногда, в свободные часы, Маратха выбирался в Кранию, что совсем недалеко от шумного портового Коринфа.

Здесь, в публичной гимнасии, где часто выступали философы, он подгадывал время так, чтобы побыть одному. Садился на нагретое дневным солнцем каменное сиденье и долго наблюдал, как укорачивалась тень на солнечных часах. Подобно движению тени, мысли его текли неспешно.

После смерти Александра Великого наступило смутное время. Уже по привычке своей сутяжничать, возмущались против сторонников Македонии, афиняне. Перед тем, как упокоиться в Египте, ещё тридцать дней распухало в Вавилоне тело Александра, дожидаясь пока улягутся распри между бесчисленными телохранителями, сатрапами покорённых народов, регентами и другими – жаждущими власти и денег.

Маратха всё-таки жалел, что нелепый случай, позволивший пиратам захватить их маленький корабль, на котором он плыл в другое рабство, где ему суждено было быть в окружении Александра, – лишил его этой возможности. Лучше бы он был воином в войнах Александра. Тогда, может быть, ему представился бы случай отомстить ненавистным мидянам, выкравшим его сына Ратхаму.

На невольничьем рынке Крита, где он ожидал своей участи среди других «человеконогов», – а только так именовались рабы, – его выкупил богатый коринфянин, сказав:

– У меня есть умный раб. В моём доме с его приходом поселился добрый дух, но он считает бесполезными математику и астрономию, пренебрегает и музыкой. Пусть теперь у моих детей будет два учителя.

В доме Ксениада, а именно так звали хозяина Маратхи, ему и суждено было познакомиться с Диогеном.

О нём грустил теперь Маратха, потому что вместе с его странной смертью, когда его нашли завёрнутым в плащ вот здесь, в гимнасии Крании, пришло ощущение одинокой бесполезности. В сравнении со многими велеречивыми греками – с их вечными, шумными праздниками, танцами и песнями в такт подбитым железом сандалям, с завыванием риториков или словоблудием софистов – Диоген был прост, как его бочка, в которой он иногда проводил остаток жизни. Подражая Диогену, Маратха носил грубый короткий трибон, надетый на голое тело, суму через плечо, имел посох, который был символом и орудием от наседавших иногда прохожих, мешавших их публичному завтраку на площади и кричавших вслед: «Собаки!»

– Это вы собаки, – отвечал им тогда Диоген, – потому что толпитесь вокруг нашего завтрака. Почему ты не отвечаешь им? – спрашивал он Маратху.

– Потому, что – невольник и изгнанник.

– Но благодаря изгнанию я стал философом, гражданином мира и понял, что самое хорошее в людях – свобода речи.

Маратха не возражал, только грустя, смотрел в даль моря, за которым – через континенты – существовало другое, Великое море, текли широкие спокойные реки, хранил могучие тайны других цивилизаций и рас – синий Тибет...

Он вспоминал другого себя ещё не наказанного богами, независимого, властного, вкушающего жизнь постепенную и несуетную.

Чем занимался он теперь, на земле эллинов, сам будучи ещё недавно мудрецом, а теперь внимающий сыну менялы, его язвительному – ко всем – презрению, его странным поступкам, могущим удивить, насмешить и привести в ярость? И всё же он внимал Диогену, даже любил его, хотя тот и посмеивался иногда над Маратхой, особенно над его увлечениями астрономией.

– Давно ли ты спустился с неба? – почёсывая голый живот, останавливал он рассуждения Маратхи о небесных явлениях. – Ты приносишь жертвы богам, моля их вернуть сына? А чтобы сын стал хорошим человеком, ради этого, ты жертв не приносишь. А если они вернут тебе уродца, или, что ещё горестнее, пустого снотолкователя и прорицателя, или чванливого удачника власти и богатства? Когда я вижу таких людей, мне кажется, будто ничего не может быть глупее человека. Если бы я был учителем Александра, а не шепелявый льстец, разряженный одедами, перстнями и причёсками, Аристотель, я бы учил сына Филиппа другому.

– Чему? – горестно сжималось сердце Маратхи при воспоминании о своём потерянном сыне.

– Философии.

– Что же дала она тебе?

– По крайней мере, готовность ко всякому повороту судьбы. Вырастут другие поколения, и на смену нашему учению придёт иная философия. Но в ней будет заложен наш спартиатский дух. Наши последователи не будут одеты в сидонские роскошные ткани, и рабы станут представлять их. Они будут есть простую пищу и воду, не захотят носить украшений, хитонов и сандалий, по улице решат ходить молча и потупив взгляд – «лишённые крова, города и отчизны...» – Диоген поднимал голову, вперя взгляд в окружавшее их. – Видишь мальчика, пьющего воду из горсти?

– Вижу.

– Он превзошёл меня простотой жизни, и я никогда более не использую питьевую чашу.

Маратха слушал и выкладывал рядом с собой три камня, в раздумье, переставляя, написанное на них.

Он всегда начинал с имени сына, гадая далее: а есть ли у него продолжатель рода – внук, пытаюсь, в математических вероятностях, определить его имя.

## 10

Таис долго не решалась позвонить Кириллу Николаевичу. Эти несколько дней, которые она мучалась сомнениями, казались длительнее многих лет, что они не виделись. И всё-таки позвонила.

– Да, – услышала она в трубке знакомый голос.

И это его короткое «да» снимало кучу дежурных и ставших ненужными вопросов. Ответ был получен сразу на все: «Вы живы, здоровы?», «Вы меня узнали?», «У вас есть время для разговора?» «А для встречи?»

– Это я – Таис.

Кирилл Николаевич долго молчал. Потом произнёс:

– Да.

– Зачем Вы это сделали?

– Что?

– Этот портрет Маши... на выставке.

– Ты звонишь, чтобы упрекнуть меня?

– Нет. Я хотела бы встретиться с вами.

– Где?

– У меня бабушка умерла и теперь в её квартире вроде мастерской. И она назвала ему адрес.

– Хорошо, я приеду.

– Я не докончила Ваш портрет...

– Да, – Кирилл Николаевич прервал её на полуслове.

В ожидании встречи Таис достала подрамник с холстом, где оставался незаконченным портрет Кирилла Николаевича. От долгого безделья ткань холста чуть провисла. Таис взяла молоток, обрезок деревянного бруска и стала выполнять мужскую работу. Наставила брусок на клин подрамника – подстучала, на другой – опять подстучала. Когда холст натянулся и почти зазвенел, Таис водрузила подрамник на станок, выбрала нужный угол наклона, отошла в сторону.

Тут же и вспомнила, как всё начиналось.

Это был девяносто пятый год. Начало лета.

Страна встала, словно на распутье. Ощувив своё очевидное бесплодие, государственная машина, далёкая от декларированной ещё недавно демократии, патологически стремилась к силовому или хотя бы административному решению любых проблем. Миллионы нищих «миллионеров» населяли страну, не понимая, что с ними происходит. Люди складывали в умах шестизначные числа, которые символизировали их заработную плату, путались в «нулях», пытаясь запомнить: сколько этой невыплаченной зарплаты им задолжало государство; всё ещё веря, что именно оно и руководит производственными процессами. Переводили суммы на один килограмм колбасы, который был эквивалентен цифрам с пятью «нулями». Маятник качался, естественным образом и люди качнулись «влево», обозначив свои пристрастия на выборах различного уровня.

Таис сидела в приёмной Кирилла Николаевича и через дверь слышала, как он горячо доказывал кому-то.

– Удивительно другое: почему ещё экономика не околела от налогового беспредела. На сегодня декларировано восемнадцать законов по налогообложению. Задействовано в жизнь – тридцать девять видов налогов: федеральных, региональных, местных. А деньги дерут по восьмидесяти восьми позициям! Как понять этот беспредел! – Кирилл Николаевич показался



в приёмной. Белая, с короткими рукавами, рубашка. Чуть приотпущенный тёмный галстук в мелкую белую крапинку. Выглядел он злым и стремительным. – Таня, – обратился он к секретарю, – я на обед сегодня не поеду, пусть без меня, – взглянул на Таис. – Какими судьбами? – улыбнулся и несколько обмяк. – У меня тут корреспондент из газеты. Хотите поприсутствовать?

Они прошли в кабинет. Как художник, Таис ожидала другого. Хотя бы в колорите кабинетных стен. Может быть, от недостаточной силы света в зашторенные окна или неправильного подбора цветовых сочетаний, но колорит казался приглушённым, блеклым. Светлым локальным пятном выглядел только сам хозяин кабинета, яркий красный телефон на столе, да кусок голубого неба в окне.

– Я продолжу, – обратился Кирилл Николаевич к сидящему за длинным столом-приставкой корреспонденту. – Законных налогов – 39, а фактических, от которых никуда не убежать, иначе счёт накроют – 88! И нужны они властям вовсе не для того, чтобы население поддержать, бюджет и товаропроизводителя, а чтобы свои же дыры, образовавшиеся от непрофессионального хозяйствования, скорее залатать. За счёт производства. Беда – в беспределе власти. Суть разногласий между властями всех уровней и хозяйственниками в том, что приоритет первых – сохранение власти, а вторых – сохранение производства.

Таис, вовлечённая в действие, достала небольшой альбом, где она делала наброски и зарисовки. Итальянским карандашом (так назывался, хотя и был похож на обыкновенный), быстрыми линиями попыталась зафиксировать не только общее впечатление, но и отдельные части человека, который теперь представлял для неё натуру или модель...

Она и сейчас выложила рисунки на журнальный столик, рядом с мольбертом. Смотрела на причудливые линии, в большинстве своём угловатые, ломаные, жёсткие, но, тем не менее, передающие настроение *того* Кирилла Николаевича – директора. Включила музыку. Пел Garou, одну из лучших своих вещей – «Je N attendais Que Vous». Пел по-мужски и с таким надрывом, что хотелось встать рядом с ним и понять: как вообще можно петь таким голосом? Густым, хриплым, грубым, и оттого удивительным в своей нежности и отчаянье. «Я ожидаю тебя» – «Жё натандэ кё ву». Александр, в своих электронных письмах из Италии писал сухо: «Я жду тебя», – но не было надрыва в голосе. Гару кричал издали, с другого континента, но его было слышно.

Звонок в дверь прозвучал настойчиво. После короткой паузы – ещё раз. Таис дежурно глянула на себя в напольное зеркало: джинсы делали её стройнее; белая прозрачная блузка – почти той же девчонкой, какою она предстала в первый раз перед Кириллом Николаевичем. Она только беспечно расстегнула на кофточке ещё одну пуговку, обнажив желобок на груди.

– Вам кого? – открыв дверь, не узнала она Кирилла Николаевича. И осеклась. – Извините, проходите пожалуйста.

Перед ней стоял седой, прячущий глаза за тёмными стёклами очков, худощавый, усталый человек. Таис нервно попыталась застегнуть пуговицы на блузке, но они словно рассыпались по полу, и она их не находила.

Он, будто извиняясь за себя, другого, не такого, каким его видела Таис семь лет назад, предупредил:

– Я как частное лицо. И уже давно не директор завода.

Кирилл Николаевич прошёл в комнату, увидел холст на мольберте, встал перед ним, скрестив на груди руки.

– Может, бросим всё? Зачем тебе это, Таис?

Она пожала плечами, поняв, что надо начинать заново. Всё, что было сделано ранее: компоновка в лист, построение головы, пропорций; найденная граница, где свет переходил в тень; тональный разбор, – теперь казалось разработкой другого человека.

– Кирилл Николаевич, чай будем пить или кофе?

– Кофе, крепкий. Курить-то у тебя можно?

Таис усадила гостя в кресло, рядом с открытым настежь окном, а сама вышла на кухню. Человек, которого она наблюдала сейчас со стороны, виденный ею несколько раз в жизни, был-то её покровителем и защитником первые два года учёбы. Потом Академия перевела Таис на бесплатное обучение. Но тогда, в развалившейся вдруг стране, ни родители, ни власти, не могли найти денег на её поступление, а он, поверив на слово в «талант» и порядочность друзей её рекомендовавших, – помог. Всего-то навсего расправил крылья, а уж полетела она сама. Пожелал только в ответ на сбивчивые благодарности: «Смотри, не улетай далеко».

Сидеть в кресле Кириллу Николаевичу, видимо, не хотелось. Он встал около окна, скорее всего не подозревая, что был похож сейчас на того, с портрета...

...Когда она вернулась, Кирилл Николаевич стоял у мольберта, глядел на холст, курил.

– Серьёзную ты картину тогда задумала. На дипломную работу могла потянуть. Даже без меня.

А его пока и не было на полотне, хотя в малом мире, отражённом в картине, его присутствие чувствовалось и имело трёхмерную форму, пока не выделенную цветом, а только линией со своим ритмом. Таис смотрела со стороны, вспоминала как начиналось, как шёл процесс, диалог, и появлялись первые успехи. Вот широко расправлены брови, не нахмурены, межбровных складок нет – это он спокоен здесь. А вот брови чуть прикрывают глаза, взгляд ясный, пронзительный, прямой, значит – равнодушен, открыт окружающему его миру. Несколько зарисовок глаз, они подвижны – хочет идти дальше, открывать новые горизонты.

Почему же она не сумела закончить тогда задуманное? Поджимало время? И это тоже. Но главное было в другом. Варианты портрета Кирилла Николаевича получались разными и противоречивыми, как и мироощущение самой Таис. Сомнение, разочарование, давящий воздух того времени, – всё это мешало выбрать нужный стиль. И если за окном, которое в картине обеспечивало перемещение из одного пространства (кабинета) в другое (заводского двора) и далее, в недалёкий за рабочим посёлком лес, – была написана пастораль, то неустойчивое настроение самой Таис, как автора, накладывалось на главный план – на портрет директора. Сейчас она заново присматривалась к Кириллу Николаевичу.

– Расскажите о себе, – мягко попросила она.

– Нынешнем?

– Это, как Вам хочется. А я постараюсь сделать новые зарисовки. Почему-то, не хочу рисовать Вас усталым, какой вы пришли ко мне. Вспомните что-нибудь дорогое для Вас.

\* \* \*

«– Цыган, топи его быстрее, в кино опоздаем! – кричал мне сосед Витёк, порываясь доделать задуманное самостоятельно.

Мы стояли на берегу невзрачной речушки, чуть дальше впадавшей в озеро. Нам обоим исполнилось по семь лет. Недавно нам купили брюки с ширинкой на пуговицах, а это уже не шаровары на резинке. Поэтому мы считали себя вполне взрослыми.

Чёрный мускулистый кот чуял наши намерения и вырывался. Его вина была в том, что умел вытаскивать из кастрюль мясо: просовывал лапу в дужку крышки, поднимал её, а дальше уже было дело техники. То же он проделывал и с дверцами кухонного шкафа. Плутничал регулярно, как у нас дома, так и в соседних домах, куда проникал через чердаки или вечно незапертые двери.

Кота звали Тарзан, так же назывался фильм, на который мы торопились. Приговор коту вынес Витёк, но взрослые об этом не знали, хотя моя бабушка, замученная проблемами кормёжки, наверное, не возражала бы. Баночных крабов, стоявших рядами в Шапошниковой лавке, мы почему-то не ели, а с другими продуктами была напряжёнка.

– Толстый, ты придумал, ты и топи, – передал я кота Витьку, уверенный, что Тарзан выпутается из сложного положения.

Толстому не хотелось лезть к речке по разросшейся осоке, он размахнулся и забросил кота подальше от берега. Тот поплыл вдоль, а потом к другому берегу, к баракам. Там жизнь ожидалась не такая сытная, но спокойная.

Какая-никакая, но речка, да и озеро тоже, имели два берега. На другом – белели выполосканные и сложенные на мостках простыни; кричали чьи-то утки. За высокими – в ряд – тополями располагался стадион, да манил отведать своих плодов городской сад. Слева от стадиона, между понтонным, гулко ухающим мостом, если на него въезжала машина, и арочным входом на сам стадион, вытянулись по вытоптанной земле три длинных барака, откуда всегда тянуло керосиновой вонью и непонятной, шумной, безалаберной жизнью. И сейчас там играла гармонь, да лениво, от нечего делать, переругивались две бабы.

Пока мне речки хватало, но иногда, начитавшись Джека Лондона, мечталось о другом: построить плот, выплыть по озеру к большой реке, а там... только меня и видели. Но даже Толстый меня не поддерживал. У него и здесь, на своей улице, дел хватало. Он раскапывал кабель у трансформаторной будки, добиваясь, чтобы искрило, ловил чужих котов у своего курятника, а когда не хватало простора – лез на крышу. В четыре года его уже снимали с конька крыши пожарные, потому что тогда, в будний день, на улице остались одни старухи, не умеющие лазать по верхам. Днём, улица вообще вымирала, потому что практически все уходили „зарабатывать стаж“.

Под свою акцию с „утоплением“ Толстый выпросил у моей бабки тридцать копеек на двоих, и мы, в пятый раз, побежали смотреть кино о другом Тарзане.

Вечером мы сидели на песчаной части берега, кидая в речку комья песка, делились впечатлениями. Для себя я надеялся, что наш Тарзан вернётся, но с тех пор я его больше не видел. Не скажу, что мяса в наших кастрюлях сразу прибавилось.

Холодно, как лезвие ножа, взблеснула речка под последними, солнечными лучами.

– Я домой, – встал, отряхивая с задницы песок, Толстый.

– Пошли, – согласился я, зная, что оставаться на чужой, приборачной территории, где командовали братья Черноглазовы, было опасно.

Их было пять или шесть братьев, но сколько – я точно не знал, потому что всегда кто-то из них сидел, кто-то выходил или готовился отправиться за решётку. Младший – Варека, Толстого иногда побивал, может, за его золотушный вид, но меня он не трогал, скорее всего, из-за моей кликухи Цыган, которую мне приклеили за смуглость, чем-то роднящую меня с Черноглазовыми.

С сандалиями в руках мы медленно поднимались по податливому, тёплому песку в гору, и столько впечатлений гнезилось в наших головах, что казалось: мы прожили сегодня по меньшей мере – неделю. Толстый гордо нёс оцарапанную Тарзаном руку, которая к вечеру начала припухать, и я благосклонно не спрашивал с него „пятак“ сдачи, зная, что завтра мы вдоволь напьемся на него газировки „без сиропа“.

На гребне горы, где находилась наша Дивизионная улица, я ещё раз обернулся, как делал всегда.

Далеко внизу, волнами переливалось разнотравье вдоль речки и у озера, но самой её почти не стало видно. Над домами нашей улицы уже нависли сумерки, чуть разбавленные светом одиноких лампочек в окнах, спрятанных под разноцветные абажуры. Хотелось жареной картошки, уютной кушетки в прихожей, где можно лежать даже с грязными коленками, читать книжку и ждать, пока в сенях нагреется вода, которой с тебя „чумазея“ смоят дневную пыль Песков – так называлось место, где мы жили».

\* \* \*

– Вот так, – улыбнулся Кирилл Николаевич. – Почему-то всё чаще стал вспоминать о детстве.

– А завод? Что вообще произошло?

Кирилл Николаевич встал, опять подошёл к незаконченной картине.

– Я не знаю, как этот приём у художников называется, но сделала ты это с умом.

Он показал на часть картины, где рядом с фигурой директора, стоявшего в кабинете у большого окна, слева, в межоконном проёме, висело зеркало. В нём и отражались в уменьшенном масштабе фигуры трёх человек, азартно играющих в карты.

– О, это целая теория по поводу присутствия на картинах дверей, окон и зеркал. Они нивелируют границы и в то же время позволяют соприкоснуться различным пространствам. Вот, окно, например. Как пишут в учебниках, я использовала «потенциальную способность окна стать картиной». У меня через него не только свет проходит, но и аура нормальной человеческой, трудной жизни маленького городка, больше похожего на село. Здесь фигуры людей, идущих с завода и на завод в пересменок, и уходящие трейлеры с готовой продукцией.

– А на дальнем плане?

– Стволы худосочных берёз овивает дым горящих торфяников. Он, как мифологический фимиам, несколько смягчает жёсткую линию конкретных, не аллегорических труб, которые увозят с завода. В 93-м я видела дым над парламентом... Здесь – другое, но своего рода предостережение: пожар, если его не погасить, рано или поздно приблизится к городу, и тогда пастораль исчезнет. В этой же теме и тревожный цвет солнца: кадмий лимонный, жёлтый, оранжевый.

– У Платонова: «шумящее от огня солнце».

– Хорошо сказано. Хотя у Платонова всё-таки чёрно-белый язык.

– Скорее – неправильный, но притягательный.

– Вы знаете, я хотела, чтобы Ваш портрет был таким же.

– Но про Платонова и другое говорят: был обыкновенный человек, а его будто контузило немного, и язык его стал ненормальным... Так, а что у нас с зеркалом?

– И тут ничего особенного я не придумала.

– Кроме того, что играющие в карты ребята подозрительно смахивают на ГЮлей – соучредителей.

– Зеркало здесь «иллюзорный проём» в другой мир: со своей психологией, ценностями. Вы, удостоверившись, что день закончился нормально, что на смену сделавшим работу людям, идут другие, уже чуть отвернулись от происходящего за окном, а перед Вами иные люди, а Ваши интересы и заботы их не то, чтобы не волнуют, но они из *другого* пространства картины, хотя и присутствуют в этом же кабинете.

– И откуда тебе было знать, что они сделают с заводом?

– А они проиграли его в карты?

– Почти.

– В переводе на немецкий язык, зеркало – это Spiegel. Совсем созвучно – Spiel – игра, или – spielen: играючи, легко, шутя и без усилий.

– Хорошо, что они не видели этой картины тогда.

– Ты когда уезжаешь, Таис? – он всё ещё стоял спиной к ней. Хотелось подойти и приобнять его за плечи или прислониться к напряжённой спине – просто по-женски. Она даже сделала шаг и тут же испугалась себя.

– Недели две пробуду, – взяла со стола пустые чашки из-под выпитого кофе и собралась на кухню.

– Я тебе ещё интересен? – он повернулся.

– Конечно, – задержалась Таис.

– Значит, будем заканчивать? – однако он сомневался или думал о чём-то другом.

– Если получится, – и она опять поставила чашки на стол. – Вы так поседели.

– Постарел?

– Нет. Возмужали.

– Раньше как-то некогда было об этом думать. А сейчас достаточно и времени, и поводов, – Кирилл Николаевич медленным взглядом осматривал комнату, и его взгляд остановился на стареньком бабушкином серванте. – Слоны! – удивился он. – Все семь штук! – он подошёл к серванту, с трудом раздвинул стёкла в ссохшихся от старости полозках. – А у меня три штуки только осталось.

– Потеряли? – Таис удивилась его вниманию к, казалось бы, ненужным вещцам.

– Скорее приобрёл. Продай мне их.

– Забирайте, – ей стало смешно. – Дарю.

Он так обрадовался, что она именно теперь и задала ему вопрос, мучивший её последние дни.

– Портрет Маши. Зачем Вы поместили его на выставке-акции?! Да ещё с подписью, – Таис не решалась произнести её вслух, хотя помнила наизусть: «Портрет девушки перед повзрослением и поездкой в Голландию – страну тюльпанов и наркотиков...» И эти три нарочито крупных точки, как уколы или выстрелы в живое тело. – Она же такая ещё наивная и распахнутая на том портрете! – Таис, конечно, всё поняла, но она не спрашивала: «Почему?», а спрашивала: «Зачем?»

Кирилл Николаевич молча положил на стол фигурку предпоследнего слоника и он – вынутый из логичной, пропорционально выстроенной вереницы – теперь напоминал подстреленного на сафари животного.

Таис терпеть не могла мужских слёз, а уж тем более – женских, поэтому моментальный взблёск, который она уловила в глазах Кирилла Николаевича, заставил её решительно подойти к окну. Она облокотилась на массивный подоконник и перегнулась на улицу.

– Сегодня утром проснулась и так же вот стояла у окна, и удивлялась, что воздух так плотно напитан дождём, солнцем одновременно. Настроение было такое хорошее...

– А сейчас? – глухим голосом спросил Кирилл Николаевич.

Она пожала плечами.

– Вот давай и не будем развивать эту тему, Таис. Оставим на «потом». Так я слонов заберу? А то мне скоро и путешествовать будет не на чем.

– Конечно, – не поняла она последней его фразы.

Когда Кирилл Николаевич уходил, он все фигурки слонов сложил в полиэтиленовый пакет. Лишь одного держал в руке, будто пытался согреть его теплом своей ладони.

## **СЛОН № 5**

### **Факел**

Наступило однажды время, когда Маратха поймал себя на мысли, что он перестал считать прожитые им годы. Уже давно подросли сыновья Ксениада, которых он воспитывал вместе с непредсказуемым Диогеном, а с момента смерти друга прошло уже четырнадцать лет. Маратха теперь был почти не раб, но всё ещё поклонялся Простату – покровителю метэков, как называли чужеродцев-иноземцев афиняне.

Но если раньше Маратха, подражая Диогену, заботился о своём здоровье: летом зарывался в горячий песок, а зимой обнимал холодные от росы или даже снега статуи; то последние

год-два, бодрость и стремление жить покидали его. Он всё чаще вспоминал сына, который так и остался для него молодым юношей семнадцати лет от роду, угнанный персами в неволю.

Продолжала рушиться, оказавшаяся колоссом на глиняных ногах, монархия великого Александра. Она буквально развалилась на новые государства, где каждый правил по своим законам, слушал своих сикофантов<sup>{1}</sup>. После долгих распрей полководцы Александра презрели его цели, и уже не о сплочении и единении шла речь, а о возможности править самостоятельно. Большинство из них изменили себе имена, прибавив обязательные для царей цифры, обозначив тем самым не только начало своего владычества, но и надежду на династическое продолжение.

Времена для Эллады настали тяжёлые, хотя кругом только и говорили о демократии. Маратха вёл свою хронологию событий империи, которая разваливалась на глазах. Он подолгу сидел над тазом с водой, который отражал небо и предохранял от блеска солнца, за движением которого и наблюдал Маратха. Пытался предугадать что-то и по звёздам, но те ничего хорошего не сулили. И он перестал понимать: гражданином какого государства он существует. А изнутри точил ещё червь одиночества. И вот ему перевалило восемьдесят. Но столько войн, крушений и несбывшегося вместила его жизнь, что устал жить. Вспоминал друга Диогена. Они часто сидели с ним, прислонившись спинами к глиняным, тёплым пифонам, в одном из которых хранилось зерно, а в другом вино; смотрели на смоковницы, нависшие над обрывом, и плоды их были человеку недоступны, а потому лишь вороны и коршуны кружили над ними.

– По-твоему, смерть это зло? – спросил он Диогена.

– Как же может она быть злом, если мы не ощущаем её присутствия? – ответил с усмешкой Диоген.

Он и пренебрегал смертью не раз. Не ощущал её и Маратха. До недавнего времени.

---

<sup>{1}</sup> Отк. 2.17.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

## **Примечания**